

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 36

1981



Дмитрий ЖУКОВ

ЗА ТЕРСКИМ ХРЕБТОМ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 36

Дмитрий ЖУКОВ

ЗА ТЕРСКИМ ХРЕБТОМ

О Ч Е Р К И

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1981

Дмитрий ЖУКОВ

Дмитрий Анатольевич Жуков родился 30 августа 1927 года в городе Грозном. Вступив в 1944 году добровольно в ряды Советской Армии, он был рядовым, курсантом, офицером-связистом. За шестнадцать лет военной службы удостоен восьми боевых и правительственных наград. Как ученый-лингвист, он был одним из первых в нашей стране, кто занимался вопросами машинного перевода с иностранных языков на русский. Этому посвящены его научно-художественные книги «На руинах Вавилона». «Загадочные письма». «Переводчик, историк, поэт?», «Мы — переводчики».

Им переведены многие произведения английской, американской и югославской литературы, и среди них романы и рассказы Нушича и Домановича, Уэллса и Голсуорси, Джека Лондона и Стейнбека, Конан Дойля и Даррелла, Брэдбери и Саймака...

Дмитрий Жуков написал документально-исторические повести «Эстафета смерти», «В опасной зоне», художественно-биографические книги «Нушич», «Аввакум», «Козьма Прутков и его друзья», «Иван Поддубный», «Владимир Иванович». В последнее время вышли сборники его повестей и рассказов «Корни», «Круг размыкаемый», «Огнепальный». Повести, рассказы, очерки и статьи неоднократно печатались в «Правде», в журналах «Огонек», «Новый мир», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Москва», «Сельская молодежь». Произведения Дмитрия Жукова удостоены пяти журнальных премий за лучшее произведение года. О своем творческом пути он рассказал в книге «Биография биографии». Произведения его переводились на иностранные языки.

СРЕДОТОЧИЯ

*О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной..*

К Н. Батюшков

Есть места на нашей земле, влекущие к себе неодолимо... Впервые на берегах реки Жиздры я побывал несколько лет назад, когда еще только начал писать книгу об Алексее Константиновиче Толстом, прерванную на середине для неожиданного для меня самого сочинения «Козьма Прутков и его друзья». Бродил я тогда по калужской земле в поисках истаявшего бесследно, но так уж повелось, что не могу я написать ни строчки, не ступив на землю, по которой ходили мои далекие герои..

Осталась позади Калуга, где Толстой встретился с Гоголем в доме знаменитой Россет-Смирновой и услышал от него старинную песню «Пантелей-Государь ходит по двору», вошедшую потом в роман «Князь Серебряный». Гоголь уехал дальше, в Козельск, где оставил лошадей и прошелся пешком версты две до Оптиной пустыни, читал там книги и вел беседы, которые надолго дали ему пищу для размышлений. Да и одному ли ему?

Алексей Толстой тоже наведался по служебным делам в Козельск, городок прелебный, однако издали имеющий вид изрядный, как сказал один путешественник. История у города была славная — семь недель не могли его взять войска Батыя и, озверевшие, перерезали всех жителей до единого. Потом город расцвел, до сорока церквей стояло на высокому берегу реки Жиздры. Ближе к нашим временам город славился кожевными заводами и полотняными парусными фабриками, но к приезду Толстого он уже хирел, число жителей уменьшалось, промышленники перебирались в Сухиничи, к новому торговому пути.

Из Козельска пути-дороги вели Толстого и в знаменитые Брынские леса и в Оптину пустынь... Он писал потом, что места у Жиздры незабываемы, и трудно даже определить, что здесь интереснее — природа, история или люди.

Уже после появления романа «Князь Серебряный» стали вспоминать о князе Петре Оболенском-Серебряном, казненном Иваном Грозным. Имение князя было неподалеку, в соседнем уезде. В Козельске даже появилось предание о кургане, что возвышается верстах в трех от реки,— будто это могила героя романа князя Микиты Серебряного, который отпросился у царя в сторожевой полк на Жиздру служить да там и голову сложил в сражении с татарами.

Справочники говорят, что, по преданию, Оптина пустынь основана в XIV веке Оптой, главарем шайки, много лет разбойничавшей в Козельской засеке. Покаявшись, он стал иноком Макарием. Захудалый был монастырь. В XVIII веке обитель вдруг разбогатела и начала обстраиваться.

Со всех сторон, кроме речной, монастырь прикрыт лесом, и в лесу том, как в соборе, просторно меж толстенных стволов сосен, дубов, лип. Разросшиеся их кроны на громадной высоте, словно пологом, отгораживают небо, и редкие прорывающиеся сквозь зелень лучи солнца ослепительно, золотом горят на коре деревьев и плотном ковре увядшей хвои.

Я стоял в этом прекрасном лесу и вспоминал строки из «Братьев Карамазовых»:

«Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали в яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю».

Открыл глаза, я не увидел ни белых башен, ни золотых глав Введенского собора. Война, время и небрежение проделали страшную разрушительную работу. Грязные, совсем неживописные руины окружают несколько уцелевших зданий, в которых ютятся сельское профессионально-техническое училище. Груды битого кирпича перемежаются с ржавеющими, брошенными за ненадобностью остатками комбайнов...

Перепрыгивая через обломки, я добираюсь до могил братьев Киреевских, огороженных жалким штакетником... Кто же бывал в Оптиной и жил подолгу? Шевырев, Погодин, Гоголь, Жуковский, Достоевский, Апухтин, Жемчужниковы, Алексей и Лев Толстые, Страхов... Перечисление можно продолжить.

А надо ли?

Не раз уже писали и говорили об удивительной роли, которую сыграла в нашей литературе Оптина пустынь или, вернее, ее скит. Он там, дальше, в лесу, «шагах в четырехстах», как точно подсчитал Достоевский, который приезжал сюда убитый горем после смерти от

эпилепсии любимого сына Алеши, ходил по скитской тропинке к старцу Амвросию и вернулся умиротворенный, пересказывал все слова старца, сел за последний и лучший свой роман, свое завещание за «Братьев Карамазовых», назвал любимого героя Алешей, вложил слова, сказанные Амвросием для передачи бурно горевавшей Анне Григорьевне, в уста старца Зосимы...

Это здесь Гоголь сделал карандашом пометку на полях против XI главы первого тома «Мертвых душ»: «Мне чужилось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь; вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ»...

Гоголь листал в Оптиной древние книги и беседовал со старцем Макарием. Гоголь читал Алексею Толстому новые (сожженные потом) главы «Мертвых душ», и тот сочувствовал горячему желанию Гоголя увидеть Русь другими глазами, показать крах зла и торжество добродетели, объяснить хотя бы, что не все у нас такие, как персонажи первого тома, заглянуть в будущее, где усилием разумной воли человека искоренятся прирожденные злые страсти... Но он не принимал близко к сердцу проповеди молчания, кротости и усмирения страстей, которая подстегивала Гоголя, сама дыша жаром страсти со страниц древних книг.

Посетивший скит Алексей Толстой видел страсть и в несимметрично поставленных глазах Макария, когда тот, сухонький, весь седой, с костью в одной руке, а с четками в другой, под общий шепот: «Старец идет!» — появлялся на людях и, благословляя всех направо и налево, проходил в «хибарку», садился на диван и начинал отвечать на вопросы. Его сопровождал Амвросий, секретарь-письмоводитель, постриженный лишь восемь лет назад, в камиллавке и подряснике, умно посверкивая пронизательными глазами. У него были большие способности — его, поэта, богослова, знатока пяти языков, прочили в преемники Макария, что и случилось в 1860 году. Теперь же Амвросий набирался той мудрости, которая будет покорять Достоевского и Льва Толстого.

Здесь еще раз побывает Гоголь. Сюда заходит Лев Толстой, иной раз — в лаптях и простой рубахе, пешком. Он с неприязнью будет наблюдать за монастырскими порядками, о монахах скажет: «Горе им, они живут чужим трудом», а вот разговором со старцем останется доволен, хотя тот и скажет о нем позже: «Горд очень». Амвросий вынесет приговор и философу Владимиру Соловьеву, сопровождавшему Достоевского: «Соловьев не верит в будущую жизнь». Лев Толстой здесь как-то схватился с другим философом, Леонтьевым, жившим тогда в Оптиной. Леонтьев придерживался взглядов реакционных и сказал, что рад был бы добиться ссылки для Толстого. И тот ему ответил: «Голубчик, Константин Николаевич! Напишите, ради бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы

скомпрометировать себя в глазах правительства, и все сходит с рук...» Почему все-таки, уйдя из дому, чтобы умереть на станции Астапово, Толстой сделал крюк в Оптину и прожил там один день? Только ли оттого, что в двадцати верстах от пустыни жила его сестра Мария Николаевна? С официальной религией он порвал совершенно. Сестра ответила потом на вопрос о том, что Толстой искал в пустыни, так: «Горе его было слишком сложно. Он просто хотел успокоиться и пожить в тихой духовной обстановке».

Так что же это была за обстановка? Что за старцы жили в скиту? И что привлекало к ним наших великих писателей?

Старцы Макарий (Михаил Иванов) и Амвросий (Александр Гренков) совсем не пользовались поддержкой церковной иерархии, которая смотрела на них подозрительно, считала их обузой и даже привлекала к ним внимание полиции. Но монастырю эти мудрецы были выгодны. Со всех сторон к ним стекались страждущие. И они давали советы крестьянке, например, как кормить индюшек, чтобы не дошли, или как пресечь поползновения свекра, а интеллигенту, остро чувствующему несправедливость жизни, — как справиться с мучительной нравственной проблемой... Вопросы церковной догматики их интересовали мало. Их умение ориентироваться в психике пришедшего по одному выражению лица, их огромное влияние на всех соприкасавшихся с ними людей труднообъяснимо, хотя Достоевский, описывая своего Зосиму, и пытался это сделать.

Он «до того много принял в душу свою откровений, сокращений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришел, чего тому нужно и даже какого рода мучение терзает его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово», — написано в «Братьях Карамазовых» про оптинского старца.

«Отец Сергей» Л. Н. Толстого связан с Оптиной пустынью замыслом и в значительной степени материалом.

Гоголя привлекала в старцах «здравая психология». Действительно, писатели не искали у старцев никаких чудес. Глубокое знание человеческой природы, всех движений души человеческой — вот на чем основывалась мудрость старцев. Было у них и еще одно качество, которое не могло оставить равнодушным всякого, в ком билась писательская жилка. Общаясь непрерывно с народом, они усвоили богатейшую, полную юмора народную речь, были великолепными рассказчиками. Писатели стремились к познанию этой речи и обрета-ли ее готовой из уст оптинских старцев.

... Вот и лес распустился. Лес, который запрещено было рубить, «дабы навсегда он (скит) был закрытым». Деревьям в этом лесу сотни лет. Они и сейчас глядят на домики, в которых бывали Гоголь

и Достоевский. Они старше Толстого, столетие которого мы уже отметили.

Для скита когда-то вырубил поляну и построили из леса, который рос здесь, маленькую церковку, по архитектуре похожую на каменную. Вся поляна была засажена осенними цветами. От ограды скита не осталось ничего, кроме башенки.

«Но линию этой ограды легко проследить по стоявшим у стен домикам «старцев». Здесь в скиту с каким-то недоумением думаешь о людях, которые не могли примириться с миром зла и стяжательства, скрылись от него в этих стенах и забыли о его существовании. Но мир от этого не перестал существовать, и разразившаяся наконец буря захлестнула крошечный мирок скита. А когда волны схлынули, здесь не осталось ничего, кроме остовов построек».

Таким увидел скит молодой ученый-химик Евгений Викторович Николаев, посетивший Оптину лет десять назад и закончивший описанием ее свою поэтическую книгу «По калужской земле». Я еще вернусь к книге, а пока надо бы хоть несколько слов сказать о Василии Николаевиче Сорокине, местном краеведе, представителе племени, вымершего было и вновь возрождающегося. Это он не дал «остовам построек» догнить и рухнуть. Это он показал «домик Достоевского» одному крупному советскому военачальнику, который завернул как-то в Оптину и, оказавшись почитателем великого писателя, прислал солдат, починивших домик. Это он перетащил остатки мебели из номера бывшей монастырской гостиницы, где шесть раз останавливался Лев Толстой, в церковку и устроил там выставку, посвященную автору «Отца Сергия». Это его знают и любят все мальчишки в Козельске и тотчас разыскивают, когда появляется на улицах города очередной автобус с экскурсантами, стремящимися увидеть место, где зарождались великие произведения.

А едут, едут без конца. И Сорокин, пожилой, седовласый, садится в автобус и, сгорая от стыда за разор, который ему сейчас придется показывать, говорит торопливо о людях с мировой славой. Он, пожертвовавший карьерой журналиста и литератора ради того, чтобы сберечь хоть малое из того, что осталось, говорит увлеченно и красиво.

Я знаю, как это он делает, потому что сам приехал сюда в последний раз с большой группой под вечер ноябрьского дня в автобусе, который медленно полз по замечательному лесу, изрытому колесами тяжелых машин, всякий раз выбиравших новый путь к Оптиной, потому что на старых можно было завязнуть. И я представляю себе, как он отвлекает внимание от руин ограды, наугольных башен, церковей, колокольни, погибшей во время войны, зданий без крыш и с зияющими провалами на месте окон. В сумраке кажется, что бой кончился только вчера... Сорокин торопливо проводит гостей, увязующих по щиколотку в грязи, к скиту, где уже наведен

относительный порядок... (В нынешнем году, в то самое время, когда набиралась эта книга, Василий Николаевич Сорокин скончался.)

Из последней поездки я вернулся в Москву исполненный негодования, но, неожиданно для себя, не обнаружил врагов знаменитого памятника нашей литературной истории. Наоборот, и официальные лица и специалисты разделяли мои чувства...

За чем же дело?

А дело за самим делом, которое подменяется сочувственными возгласами и имитацией деятельности. Получая деньги от Общества охраны памятников, подрядчик — объединение «Реставрация» — из года в год не осваивает их и не собирается, видно, делать этого, потому что у главного архитектора объединения не было обнаружено почти никакой документации на восстановление Оптиной пустыни. За долгие годы родились лишь «Историческая записка» (жанр явно литературный) и эскизный проект реставрации Введенского собора. Реставраторы, в свою очередь, желали бы иметь солидного заказчика, вроде «Интуриста» или Управления музеев Министерства культуры РСФСР, которое опять же боится хлопот, связанных с... простите за специальное выражение, с «музеефикацией» Оптиной, и предполагаемой «неокупаемости» будущего музея, как будто культурное учреждение — это заводской конвейер, сулящий одну лишь экономическую выгоду.

Можно говорить об «экономическом эффекте», об «окупаемости» памятника... Но что «окупит» дурное настроение каждого из посетителей Оптиной, что остановит молву о пренебрежительном отношении к памятнику мировой культуры? Мы говорим о возросшей культуре народа, а это обязывает. Некоторым руководителям придется, очевидно, подтягиваться до возросшего уровня народной культуры, не говоря уже о том, что речь идет и о международном престиже...

Но раз уж речь зашла об экономике, то уместно было бы проследить, как тратятся миллионы рублей общественных денег на реставрацию памятников истории и культуры. Не надо быть особенно наблюдательным, чтобы заметить великое множество памятников, не один год опутанных строительными лесами, на которых месяцы и месяцы не увидишь рабочего человека с мастерком. Ларчик открывается просто — миллионы дробятся на крохотные суммы, выделяемые на каждый памятник, разрушающийся быстрее, чем его реставрируют. Да, в реставрации царит партизанщина, работы ведутся медленно, экономический эффект невелик... И это в то самое время, когда всякое дело в нашей стране стараются решать комплексно, вести работы широким фронтом. Впрочем, примером комплексной реставрации может служить Суздаль, где строители, реставраторы, дорожники, водопроводчики и другие специалисты работали одновременно

и целенаправленно. Утверждают даже, что через четыре года из-за наплыва туристов комплекс окупится и начнет приносить прибыль...

Я заговорил «экономической прозой», потому что вижу решение судьбы Оптиной лишь в ее комплексной реставрации. Когда-то, в двадцатые годы, здесь был музей с громадной библиотекой, большая часть которой теперь хранится в Рукописном отделе Библиотеки В. И. Ленина. Музей подчинялся непосредственно Москве — таково было его значение. Этот факт говорит и о том, что в **тяжелые** послереволюционные годы изыскивались средства на содержание замечательного памятника культуры, не пострадавшего, правда, тогда еще от военного лихолетья... Ныне, помимо ее туристской привлекательности, Оптина может стать крупным исследовательским центром.

Свою книгу «По калужской земле» Е. В. Николаев закончил словами: «И хотя было грустно, мы вспомнили старинную поговорку: «Кто надеется вернуться — уходит спокойный». А мы надеялись вернуться...» Ученый-химик Николаев не вернулся, он скончался в возрасте тридцати двух лет.

Слова его звучат завещанием. Его надежда должна стать былью. И мы очень надеемся на возвращение в обновленную Оптину...

Теперь немного отойдем от Оптиной, чтобы оглядеться вокруг, спросим себя: единичный ли это случай затыжки реставрации памятников и даже преступного отношения к ним?

Как члена комиссии по охране памятников Московской писательской организации меня пригласили проехать в Дубровицы, что неподалеку от подмосковного города Подольска. Там, на высоком мысу, меж сливающихся рек Десны и Пахры, стоит мировой шедевр архитектуры — усадьба и белокаменная церковь Знамения, восьмигранный столп которой увенчан ажурной золотой короной. Она была заложена в 1690 году князем Б. А. Голицыным, воспитателем молодого Петра I, в знак примирения с царем, заподозрившим было князя в сочувствии царевне Софье. В 1704 году состоялось освящение церкви в присутствии самого царя и царевича Алексея.

Не буду рассказывать о белокаменном кружеве, об украшениях, статуях, композиции памятника. Об этом можно прочесть в книге М. М. Дунаева «К югу от Москвы», вышедшей в издательстве «Искусство» в 1978 году. Приведу лишь одну выдержку из нее: «Возле дубровицкой церкви можно проводить часы, сюда нужно приехать не один раз, чтобы во всей полноте проникнуться ее захватывающей

красотой, разглядеть каждую деталь ее замысловатого декора. Восхищаться ею — все будет мало: храм выше всякого восхищения».

В день нашего приезда на памятнике были леса, кругом — забор с выломанными досками. И ни души на этой стройке. Статуи с отбитыми руками, носами, а то и головами... Часть резного каменного парапета разобрана (по свидетельству подошедших местных жителей, реставраторы «извлекали» отсюда белый камень для использования его где-то в другом месте). По лесам сквозь развороченные решетки окон свободно проникаем внутрь. И вот он, знаменитый интерьер, многократно описанный в книгах по искусству... Хотелось зажмуриться от ужаса. Чудная лепка, скульптура — все побито, поломано. Трехъярусного иконостаса, золоченого, с растительным орнаментом, нет. На полу валяются груды деревянных золоченых обрубков со свежими следами усиленной работы топором.

Дубровицы «реставрируют» двенадцатый год. Граждане Подольска, собравшиеся толпой к концу нашего пребывания, выражали свои чувства весьма определенно:

— Да что же это делается?! Годами мы видим, как разрушается эта красота. Если бы к нам обратились, мы бы и деньги собрали, и сами бы работали здесь. Уборкой занимались хотя бы... Леса стоят, а никто на них не работает...

Леса... Сколько памятников стоит в лесах! Я обратился во Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, полистал кое-какие документы и, кажется, стал разбираться в тайне пустующих лесов. С них начинается всякая реставрация. Составляется смета восстановления памятника, в банке получается соответствующая сумма, возводятся леса, стоят лет пять, а потом начинается реставрация... лесов.

Леса ставят деревянные, хотя стоят они около пяти рублей за квадратный метр. Могли бы ставить металлические, стоящие рубль с чем-то, но с ними надо поворачиваться, делать дело: растет плата за их аренду. Стоящие годами леса облегчают доступ к памятникам и хулиганам, ломающим из озорства уцелевшие украшения, разжигающим в зданиях костры и устраивающим там попойки, и грабителям, которые при нынешнем развитии международного сбыта краденых произведений искусства наловчились выпиливать и уносить даже фрески...

Я вовсе не собираюсь порочить деятельность всех реставраторов. Мне известны имена подвижников, восстановивших тысячи памятников. Достаточно назвать Петра Дмитриевича Барановского, создавшего методику реставрации памятников архитектуры. Но известна и другая метода...

Были времена нигилистического отношения к культурному наследию. Некий конструктивист в 1930 году писал в журнале «Советская архитектура»: «Мы не должны делать никаких новых

капиталовложений в существующую Москву и терпеливо дожидаться естественного износа старых строений, исполнения амортизационных сроков, после которых разрушение старых домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции Москвы» (№1—2).

Эти времена миновали, хотя и до сих пор реконструкция вторгается в центр Москвы, занимающий в пределах Садового кольца всего два процента площади столицы. Встали здания, совсем не гармонирующие с обликом уникальных архитектурных памятников. А ведь до последнего времени проводилась «дезинфекция». И сейчас еще можно встретить памятник, отданный под склад и доведенный до безобразного состояния, когда режут глаз ржавые ребра куполов, обрушенные и даже поросшие кустами карнизы. Такой памятник легко снести, а заодно и целый квартал, чтобы построить нечто, напоминающее Чикаго начала века.

Но вернемся к лесам, к иным «экономическим расчетам». Итак, составляется смета и строятся леса. Завозятся камень и металл. Кое-как теплится работа. Ежегодно в отделения Общества охраны памятников представляются «процентки» — акты о проделанных работах. Немногочисленные сотрудники отделений, занятые в основном сбором членских взносов, подшивают акты в папки, редко проверяя их. Время от времени этим занимаются комиссии из общественников и обнаруживают, что объемы проделанных работ в актах завышены, что памятники разрушаются быстрее, чем их восстанавливают, что израсходованные материалы оцениваются едва ли не в два раза выше их государственной стоимости, что леса и такелажные работы составляют чуть ли не семьдесят процентов всей стоимости оплаченных работ, что рабочим зарплата насчитывается вдвое больше, чем положено, и даже выявляются «мертвые души», аккуратно получающие зарплату... В общем, памятники остаются нераставрированными.

Но где же выход из этого бедственного положения? Рассказывая о «деятельности» объединения «Росреставрация» в Оптиной пустыни, я уже объяснил, как тратятся миллионы общественных рублей, как дробятся они на небольшие суммы, съедаемые быстрее, чем восстанавливаются памятники. (Кстати, после опубликования одной из моих статей местные власти получили выговор за проникновение на «объект» писателя. Не знаю, выставили ли вокруг обители часовых, но, судя по многочисленным письмам, дело с реставрацией так и не сдвинулось с места.)

Известный историк архитектуры и в прошлом реставратор Г. Я. Мокеев высказал мысль, повергшую было меня в уныние. Раз, сказал он, исчезли социальные институты и слои общества, создававшие усадьбы и храмы, то эти сооружения, лишённые своих функций, жизни, обречены на гибель. Правда, он тотчас поправился, что все-таки это произведения искусства, память народа. Они созданы

руками народа. И поэтому все памятники необходимо взять на учет, найти им применение, «оживить». Вот хотя бы в Таллине. Там создаются кооперативы, восстанавливающие старинные здания. Творческие работники реставрируют усадьбы, чтобы жить в них и работать... И еще необходима самая строгая охрана уцелевших памятников. И прокурорский надзор над иными арендаторами и реставраторами, которые не прочь подзаработать на приписках и сбыте «налево» строительных материалов...

Мне кажется, что необходимо иметь перечень памятников со строгой классификацией их по культурной ценности. И реставрацию главных из них осуществлять комплексно, с применением новейшей техники (хотя бы металлических лесов, а не деревянных, как повсюду). Великое множество мелких хозрасчетных реставрационных организаций неплохо было бы объединить в стройную государственную систему, строго контролируемую, обеспеченную транспортом, материалами и рабочей силой. Пора покончить с партизанщиной. Дело подготовки архитекторов-реставраторов тоже не мешало бы упорядочить.

Надо бы подумать, оправдывает ли себя хозрасчетная система, когда речь идет о восстановлении красоты? Если задуматься, она нелепа. Она тянет реставрационные организации на строительные работы, на крупные (по тоннажу металла и бетона) работы, а не на кропотливый труд, где надо порой действовать не ломом, а кисточкой...

Однако было бы неправильно не видеть и наши достижения в деле сохранения культурного наследия. Пример тому — уже упоминавшееся «Золотое кольцо». И еще город Вологда с округой — подлинная жемчужина русской культуры прошлого и настоящего...

Красоту вологодскую разглядишь не сразу. Если начать от вокзала и пройти до недалекого центра, то покажется, что в городе слишком много бань, банков и прокуратур, что небо застит пыль от сносимых деревянных домов и вздымающихся меж них белых блоков. Першит в горле. Теснит сердце от несочетаемости нового и старого, такого ветхого и убогого, такого сплошь серого, что незаметны сперва ни резное кружево карнизов, ни былая нарядность фигурных столбиков северных «лоджий». Но осядет пыль, пройдет раздражение, вызванное дорожной усталостью, и откроется неброская красота Вологды. Так вот не сразу разглядишь прелесть иной статной женщины-северянки, с ее русыми косами, серыми глазами и бледным задумчивым лицом, не раскрашенным ярко и с предельным знанием того, к чему надо привлечь внимание...

Я ехал на Вологодчину с заведомо неосуществимым намерением — осмыслить, почему эта скудная земля, большую часть года заваленная

снегом, обдуваемая ледяными ветрами, заливаемая бесконечными дождями, придавленная низким серым небом, земля болот и густых, но невысоких лесов вдруг стала средоточием духовности, породила плеяду современных литературных талантов: от покойных уже Александра Яшина, Николая Рубцова и Сергея Орлова до здравствующих ныне на своей родине Василия Белова, Ольги Фокиной, Виктора Коротаева, Александра Романова и других, не говоря уже о населивших столицу Сергея Викулова, Феликса Кузнецова, Владимира Тендрякова, Леонида Фролова... Вологодские москвичи то и дело навещают родные места, надолго затворяясь в деревнях для вдохновения и спокойной работы, помогая потом по мере своих немалых возможностей начинающим землякам.

Разумеется, было бы наивным думать, что все дело в этой помощи. Неталантливому, помогай — не помогай, толку не будет. А ведь когда-то Яшин, прочитав прозу Белова, сказал, что теперь надо учиться у своего ученика. К талантам тут относятся бережно. Их почитают, ими гордятся все — от рядовых читателей до руководителей самого высокого областного ранга. А это избавляет писателей от излишних бытовых хлопот, оставляя время и мысль для дел более возвышенных. И едва ли не все они прошли через редакцию «Вологодского комсомольца» — газеты маленькой по формату, но весьма приметной по нестандартности ее содержания, литературной отточенности материалов.

Но и это не объясняет «вологодский феномен». Быть может, сама суровая природа края, извечная борьба с трудностями наложили отпечаток на характер людей, породили упорство и предприимчивость. Отсюда вышли отважные землепроходцы и мореплаватели-устюжане Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов — почти все те, без кого было бы невозможно освоение Сибири, Дальнего Востока и русской Америки. Да и в наше время родина полководца Конева, авиаконструктора Ильюшина, космонавта Беляева при сравнительно небольшом населении насчитывает более ста пятидесяти Героев Советского Союза.

Вологодчина — край исконно русский, с самобытным укладом жизни, в который поверхностные новшества и мода вторгаются с заметным опозданием. Нелегкая судьба крестьянства этой поистине нечерноземной области не могла оставить равнодушными ее писателей. И художников, которых в области сорок человек, не считая москвичей и ленинградцев, устремляющихся сюда летом на этюды косяками.

Их влечет не только безупречный вкус вологодских крестьян, искусно рубивших избы и деревянные церкви, украшавших их тончайшей резьбой. Краски, вышивки, кружева, чернь по серебру... И прекрасные каменные здания старинных церквей и монастырей, отражающиеся в воде озер и рек.

Много загадок таят в себе эти стройные здания. По сию пору ломают себе головы искусствоведы и архитекторы, стараясь однозначно объяснить возникновение шедевров на этой отдаленной от центров культуры земле. А она сама была некогда таким центром, билась здесь пытливая мысль, высоко воспаряла душа, воплощая мечту в камне, дереве и красках. И не только мечту...

В Тотьме, что раскинулась на берегу реки Сухоны, я побывал лет десять назад и удивлялся необычности ее многочисленных церквей. Как бы сплоснутые, тонкие, они были причудливы, на высоких подклетах, с очень странным кирпичным узорочьем... И все они построены были в восемнадцатом веке. Знатки писали, что в те времена местные каменщики не были знакомы «ни с культурой архитектурного чертежа, ни с правилами классических ордеров». Руководствовались одной своей «сказочной фантазией». А в нынешний свой приезд увидел я восьмимиллиметровую киноленту, неумело склеенную служащим Сухонского леспромхоза Станиславом Зайцевым. Он дал ей название «Тайна тотемских картушей» и сделал великолепное открытие. Обратите внимание, сказал он, церкви-то похожи на корабли, идущие под парусами, а узорочье очень напоминает картуши, орнамент в виде не совсем развернутого свитка с завитками по сторонам и полем посередине для надписей. На всех старинных морских картах есть такие картуши. И недаром возник этот замысел. Тотьмичи, хоть их город расположен далеко от моря, были знатными мореходами. Это тотемские купцы Холодилов, Черепанов, Пановы и другие плавали в дальних океанах, открывали острова Алеутской гряды, входили потом в Российско-Американскую компанию. И это знаменитый тотьмич Иван Кусков обследовал западное побережье Северной Америки, построил там, где возник много позже Сан-Франциско, русское селение и форт Росс. Вот и разгадка «странной» архитектуры тотемских церквей. Такова была воля казакиов, не одну церковь посвятивших покровителю путников и мореходов Николе...

Начал я с города Вологды, да так и не рассказал о нем, потому что не существует он отдельно, как некоторые другие великие города, подминающие под себя всю округу. Вологда же — связующее звено и завершение. В ней встречаются эпохи, отделяемые столетиями. Вологодская дружина отличилась на Куликовом поле, и уже Дмитрий Донской поддерживал друга и ученика Сергея Радонежского, устюжского выходца Стефана Пермского в его миссионерских подвигах в Предуралье. Через Вологду, Тотьму и Великий Устюг шел путь из Москвы на Восток и на Запад. В Великом Устюге верстались казаки в отряды воевод, неуклонно продвигавшихся в сторону Тихого океана. Тут же потом проходил главный торговый путь, который

связывал Московию по Северной Двине, через Архангельск, со всей Европой. Богатели тамошние города, ломились от товаров склады, звучала многоязычная речь, пока не отпала надобность в этом пути...

Сегодня мой путь лежит на север от Вологды вдоль длинного Кубенского озера, где мало леса, а поселения часты. Но за возделанными полями в медвежьих уголках прячутся «неперспективные» деревеньки, что в числе ста тысяч других деревень Нечерноземья обречены на уход из жизни. Перевезут их жителей в благоустроенные поселки, останутся догнивать среди болот и лесов старые избы, будут беспризорными памятники, сотворенные воображением и руками предков. И тут проблема на проблеме, что так органично вписалось в страницы книг вологодских писателей. Многовековой процесс тяготения к не слишком разветвленному российским трактам продолжается, а с переходом с лошадиной на механическую тягу и усиливается...

Прерывается дорога паромной переправой через разлившуюся Шексну, ставшую частью Волго-Балтийского канала, а от нее рукой подать до Белозерска, такого древнего, что еще в Начальной нашей летописи под 862 годом было упоминание о нем.

Я вспомнил об этом упоминании, шагая по высокому земляному валу, с которого открывался весь Белозерск, перенесенный, правда, с северного берега Белого озера, где был «Варяжский городок», на южный повелением князя Владимира. Ощущение древности этих мест умеряет восторги перед городскими церквями XVI и XVII веков. Но общий вид старинного города у огромного, как море, озера, поля и леса за окраиной — весь этот простор заставляет вспомнить здешних уроженцев — поэтов Орлова и Викулова, их пронзительную привязанность к родной земле.

— Сергей Орлов за месяц до смерти к нам приехал, — говорит директор местного музея. — Словно бы почувствовал что-то и прощался... Все гулял по валу и смотрел на город.

В тот печальный год и мне на отдыхе доводилось едва ли не каждый вечер видеться с ним. Он был спокоен и почти никогда не говорил о себе, читал чужие стихи. Я смотрел на лицо бывшего танкиста — сплошной шрам от ожога, едва прикрытый бородой, и думал, что оно, в сущности, прекрасно своим выражением, одновременно напряженным, вдохновенным и сдержанным. Жива ли еще та, к которой он стремился всю войну, та, которая испугалась его лица и нанесла еще одно долго не заживавшую рану? «Его зарыли в шар земной», и кто знает, сколько мужества надо было, чтобы справиться с недугами, сердечными ранами и еще оставить яркий след на земле! Война продолжает убивать...

Военные действия захватили лишь один район Вологодчины, но местные партизаны выходили за пределы края и действовали в тылу у врага. Почти все мужчины сражались на фронте. В деревнях

оставались одни женщины и дети. Они сами пухли от голода, но обрабатывали всю землю, давали стране хлеб, давали приют несчастным эвакуированным ленинградцам... Но были в истории края времена, когда враги доходили и сюда. В 1612 году большой отряд их опустошил Белоозеро, налетом захватил Вологду, но тщетно штурмовал стены знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря.

Был всего один боевой эпизод, и все-таки монастырь этот показался мне военным памятником. Посещавшие его любят говорить о сказочном и таинственном «граде Китеже», медленно поднимающемся из тихих вод Сиверского озера. Оттого, наверно, что я увидел его впервые не с озера, оттого, что встали сразу гигантские башни и стены с бойницами в три яруса (больше километра стен высотой в одиннадцать метров и толщиной в семь), и возникла мысль о твердыне. Возникла и тотчас ввергла в сомнение из-за странного на первый взгляд обстоятельства. Стены, выдержавшие осаду, были куда слабее, а эти возникли лет пятьдесят спустя, при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, который насчитывал в России до трех тысяч монастырей-крепостей и среди первых по мощи числил Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский и Соловецкий. Были закономерность и дальновидность в том, что не жалели ни денег, ни сил на эти крепости, образовавшие вместе с другими мощную оборонительную линию от Москвы и до Белого моря. Уже само ее существование давало уверенность, развязывало руки для новых предприятий государства, укреплявшегося и расширявшегося с невиданной быстротой. К тому же ныне глухое нечерноземье было в те времена одним из самых цветущих земледельческих, ремесленных и торговых краев России. Устремления Петра I были направлены на Запад, но силы — людские резервы, хлеб, мастеровых — он черпал здесь...

Да, твердыня сыграла свою роль, хотя у стен ее не гремели орудия и не слышалась чужая речь. Не это ли и есть мудрость государственная — предвидя опасность, укрепиться, создать, как говорят теперь, глубоко эшелонированную оборону? Но была и другая роль у северных монастырей. Опять же, говоря по-современному, идеологическая и культурная.

Какие прекрасные идилии рисует нам житийная литература, рассказывая, как в конце XIV века ученик Сергия Радонежского, монах Кирилл, «неожиданно» удалился на север вместе с иноком Ферапонтом. Искали они будто бы мест уединенных, основывая свои монастыри. Да только оказывались на весьма оживленных водных и сухопутных путях, и вырисовывается продуманный замысел то ли Сергия, то ли иного великого политика, направленный на укрепление и объединение Руси. Отшельники сразу же начинают оживленную переписку с князьями и боярами. А московского князя Кирилл поучает в послании: «Князь должен беречь своих людей, суды бы

судили правдой, посулы бы судьи не брали. Крестьянам, господине, не ленись управы давати сам».

Какие только страсти не кипели в множившихся обителях. Брали верх нестяжатели во главе с Нилом Сорским, которые проклинали «вещелюбие», презирали золото и серебро, требовали от иконописцев уметь передавать в чувственных образах «мысленное», духовное. Здесь черпали силы борцы против «ереси жидовствующих», захвативших было власть в государстве. Здесь возобладали иосифляне, учение которых отражало торжество и мощь централизованного государства. При них началось строительство великолепных храмов и других изданий, зачастили в Кирилло-Белозерский монастырь на богомолье великие князья, а первый царь русский Иван Грозный не раз говорил о желании принять пострижение в этой обители, что и сделал перед своей смертью. Но до этого события немало сослал он сюда своих знатных противников под строгий присмотр. Много позже попал сюда и сам патриарх Никон, лишенный своего высокого титула, но не согласившийся с этим. Сперва он сидел в Ферапонтовом монастыре, все требовал почестей и привилегий, воздвигал кресты со своим именем, но их тщательно уничтожали, а когда его обвинили в сношениях со Степаном Разиным и перевели в Кириллов на более строгий режим, Никон умудрился все-таки оставить по себе память, вырезав свое имя на нижней стороне подлокотника кресла, что и обнаружилось при недавней его реставрации.

Но это курьез. Настоящим же резчикам, иконописцам и иным художникам не было здесь числа. Среди первых надо бы назвать воложанина Дионисия Глушицкого, написавшего еще при жизни Кирилла Белозерского, в 1424 году, его портрет, который стал потом знаменитой иконой, хотя инок изображен без нимба — такой кряжистый, сутулый старик, с волевым, но добрым лицом и умными глазами.

Похож на него, наверно, был и сам Дионисий Глушицкий — художник, резчик по дереву, кузнец, книгописец, мастер на все руки. Такие люди превратили монастырь в подлинную сокровищницу культуры, где неизвестно, что ценнее — архитектура ли, живопись или книги, писавшиеся и переписывавшиеся многими поколениями. До наших дней здесь хранился древнейший список «Задонщины», летописи XV—XVI веков, тома и тома с изящнейшими миниатюрами. И все это делалось такими же многообразно одаренными людьми, как Дионисий Глушицкий, который умер игуменом основанного им на берегу реки Глушицы нового монастыря, отчего и получил свое прозвище.

Но пора уже в Ферапонтов монастырь, к фрескам другого Дионисия, к великой тайне искусства. Здесь все отмечено печатью вкуса. Инок Ферапонт выбрал для обители холмик между двумя озерами, холмик небольшой — стрела перелетит. Во все стороны вода,

луга и леса, а посередине несколько зданий, тесно прижавшихся друг к другу. Прекрасно кругом, прекрасно и тихо в монастырском дворе, среди деревьев, подсвеченных солнцем не сверху, а снизу. Дует ветерок, рябит воду на поверхности озер, вспыхивают блики, зажигая трепетным огнем листву. Ты готов к восприятию искусства, и все же, когда поднимаешься на широкую крытую паперть собора и подходишь к portalу...

Нет, сперва несколько слов о пожаре, выжегшем дотла деревянный монастырь в 1488 году, об опальном ростовском архиепископе Иоасафе, в миру князе Оболенском, о юродивом, который вытащил из огня «сокровище» этого богатого постриженника, и об использовании спасенного богатства для «монастырского строения». Говорят, Иоасаф и пригласил Дионисия расписывать новый собор Рождества Богородицы, то ли сам, то ли через своего родственника архиепископа Вассиана, который в свое время подрядил великого художника писать иконы для Успенского собора в Кремле...

Ключи от обители были у Наталии Александровны Яшиной, дочери поэта. Она копалась в огороде у избенки с латаной-перелатанной крышей, куда приезжает каждый год из Москвы на несколько летних месяцев и берет на себя обязанности экскурсовода.

— И не скучно вам здесь? — спросил я, зная о ее архитектурном образовании, о квартире в доме, где живет литературный генералитет, в Лаврушинском переулке, против Третьяковской галереи. Ответом, как я и ожидал, был укоризненный взгляд. И еще выяснилось, что в округе, презрев городской комфорт, живет немало интеллигентов, привлеченных красотами природы, ощущением лаковой близости к дионисиевскому шедевр и некоторым либерализмом местных властей, в других местах Нечерноземья свирепо стоящих на страже разрушения уходящих в небытие «неперспективных» селений. В сопровождении вооруженной толстой тетрадью выписок об истории монастыря и фресок Наталии Александровны мы пошли к монастырю.

...Ты готов к восприятию искусства красотой здешней природы, и все же, когда поднимаешься на широкую крытую паперть собора и подходишь к portalу, обрамленному сказочной живописью, тело вдруг становится невесомым, радостное возбуждение охватывает все твое существо и даже как-то боязно заглянуть внутрь собора. Ты оглядываешься на деревья и озерную воду в просветы между ними, и в тебе начинает звучать музыка... Потом уже, потом осознаешь настроение Николая Рубцова, который писал: «Привет, Россия — родина моя! Как под твоей мне радостно листвою! И пеня нет, но ясно слышу я незримых певчих пеняе хоровое...»

Росписи иначе как музыка не воспринимаются. Кажется, только Дионисий не ограничился традиционными сюжетами, а создал что-то вроде иллюстраций к гимнам «Великого Акафиста», «О тебе радуется благодатная», воплотив в живописи

трепетную прелесть мелодии, складное многоголосье древнего русского хорового пения. Своей росписью он заставил музыкально звучать даже скромную архитектуру собора. Ошеломленный, стоишь, и не хочется различать подробности. Их нет сперва. Есть музыка, льющаяся со стен, есть отрешение от всего материального, земные краски одухотворены... Сюжетов множество, но видишь, как, минуя выступы, углы, люнеты, столбы, вырисовывается однокрасочный лейтмотив, как в оттенках главного цвета проступают вариации, как подхватывают гимн все новые и новые голоса-краски...

Сколько я читал описаний фресок «преизящного живописца» Дионисия, сколько видел фотографий — цветных и отличного качества. И как беспомощны эти попытки хоть приблизительно передать красоту. Я видел фрески и... пробовал читать описания после этого. И не мог. Было скучно. Бессилен и я передать свои чувства, благоговение перед недостижимым совершенством. Это уже не мастерство, это творение того, чего еще не было в природе.

Вечернее низкое солнце ворвалось в узкие окна. Прозрачные краски, тускло светившиеся в прохладной тени, вспыхнули. Слышал я в Ферапонтове, будто композиционно сюжеты расположены так, что в течение дня высвечиваются они в каноническом порядке, соразном с движением солнца. Слышал, будто, обрастая зимой инеем и сбрасывая его весной, фрески освобождают себя от пыли и обновляются. Наверно, это не так. Утраты происходят, но они незаметны, растягиваются на поколения, потому что ради прозрачности и серебристости Дионисий и сам высветлял краски. Кроме красно-коричневатого, все оттенки красок нежны — розоватые, бледно-малиновые, соломенно-желтые, бирюзовые, бледно-зеленые, палевые, дымчато-фиолетовые... Во фресках Андрея Рублева насчитывают шесть основных тонов, у Дионисия — сорок.

Заранее послал он подмастерьев собирать цветные камешки по берегам озер и оврагам, растирать их, готовить все, чтобы по сырой штукатурке, по нацарапанным и помеченным жидкой краской рисункам мгновенно, точно и навечно расписать стены. И не повторить ни одного орнамента, не сбиться и в малом, не допустить ни одного неверного движения, держать в голове великий замысел, изменять подробности лишь к улучшению его. Древние живописцы трудились обычно не ради суетной славы и редко ставили свои подписи. А тут исключение. Может, фрески сделаны по обету, но над северной дверью собора есть сведения, когда работали здесь «писци Дионисие и иконник с своими чады».

Считается, что храм начали расписывать Дионисий с сыновьями Владимиром и Феодосием и подмастерьями в августе 7008 года, а окончили на второе лето, то есть в сентябре 7010 года. Понынешнему с августа 1500 по сентябрь 1501 года, в два сезона, месяцев за семь-восемь.

Но вернувшись в Вологду, я узнал об иных расчетах.

Красоту города Вологды разглядишь не сразу, но когда проикнешься ею, уезжать не хочется... В тот день, когда видел я Белозерск, Кириллов и Ферапонтово, пришлось проделать на машине путь километров в четыреста, много ходить, однако настроение, навеянное фресками Дионисия, заставило забыть об усталости, изгнало из головы все мысли о мелочах бытия, и тело, словно бы лишенное веса, воспарило вслед за душой в эмпиреи, в высочайшую часть неба, пронизанную огнем и светом, в неземные пространства, где обитают, по представлениям древних, боги и святые, но грешная земля с ее «реальной действительностью» казалась не менее прекрасной. Был уже поздний час, но небо и не думало темнеть, жемчужный свет белой ночи заливал стройные громады старинных зданий на «соборной горке», платиновую гладь речной излучины внизу, особняки и церкви Заречья. Это она, белая ночь, выгнала нас, местно и повсеместно чтимых литераторов и гостя их, из прокуренной комнаты вологодского писательского отделения на свежий простор, где в речах засквозила боль неурядиц, страстное желание найти выход из всех тупиков, любовь к родной земле, и зазвучали стихи самой высокой поэтической пробы.

Редкие прохожие непременно улыбались и здоровались. Своих поэтов и прозаиков вологжане знали в лицо, что говорило если и не о большой начитанности, то о здешнем уважении к литературному ремеслу, об ответной общительности и открытости местных литераторов, тесно спаявших себя с общественной жизнью города. И недаром красивейшая из старинных улиц, та самая, где стоит Софийский собор, колокольня, музеи, та самая, где обрывается под собором ряд домов и открывается вид на реку и где расположились мы, названа именем Сергея Орлова. А напротив, за рекой, видна с высокого берега вся как на ладони короткая улица, что носит имя Николая Рубцова.

Жизнь его тоже была коротка и теперь, в воспоминаниях друзей, просматривалась вся — беспокойная, неустроенная и печальная. Характер у него был независимый, неуступчивый, поведение казалось вызывающим, но за этим нетрудно разглядеть легкоранимую душу поэта, прикрытую бравадой застенчивости, частую смену настроений. Характер и жизнь Николая Рубцова отразились в его стихах, чрезвычайно органичных, лишенных какой-либо фальши, рисовки, стремления удивить, свойственного, например, эстрадной поэзии. Вся боль нашего века отозвалась в его печальных стихах потому еще, что это была его личная боль — боль ребенка, рано потерявшего отца и мать в военном лихолетье и выросшего в детском доме. Боль юности, который рано познал тяжкий труд, долго не мог найти свое призвание, испытал крушение первой любви... Поэт метался в поисках себя и правильного пути по городам и весям, жывал в матроских кубриках и рабочих общежитиях и, даже став известным поэтом, никогда не

стремился к обретению материальных благ, довольствовался случайными пристанищами у друзей.

Печальной тризной был ужин в плавучем ресторане, за любимым столом Николая Рубцова, тем самым, который по сию пору обслуживает воспетая им в «Вечерних стихах» официантка Катя. И представлялось настроение Рубцова, его «смятение и тоска», его желание неназойливого общества в тихом, качающемся на волнах ресторане, его желание «запеть про тонкую рябину, или про чью-то горькую чужбину, или о чем-то русском вообще». Его описание вечерней Вологды теперь тоже читают с эстрад. А стихотворение «Вологодский пейзаж» заставило меня прервать свой рассказ о дневном городе в самом начале, так как все, что надо сказать, в нем уже было сказано.

Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой,
И городская панорама
Открыта вся передо мной.
Пейзаж, меняющий обличье,
Мне виден весь со стороны
Во всем таинственном величье
Своей глубокой старины...

Женщины с мостка полощут белье в Вологде-реке... Сады. «И темный, будто из преданья, квартал дряхлеющих дворов, архитектурный чей-то опус среди квартала...» Это, наверно, нелепый, сложенный из разновеликих кубиков новый театр, оскорбляющий космополитическим видом картину ладного русского города.

Где строят мост, где роют яму,
Везде при этом крик ворон,
И обрывает панораму
Невозмутимый небосклон.
Кончаясь лишь на этом склоне,
Видны повсюду тополя,
И там, светясь, в тумане тонет
Глава безмолвного кремля...

* * *

Кремля в Вологде нет, но Рубцов прав исторически. Кремль был задуман Иваном Грозным в Вологде грандиозный. Что-то вроде опричной столицы хотел создать здесь царь. Десять тысяч рабочих возводили непреступные стены и башни, в каменных палатах хранилась казна, охраняемая тремястами пушками и сотнями

стрельцов. Но потом был великий мор, царь уехал и вскоре отменил опричнину. Кремль остался недостроенным, а в прошлом столетии стены разобрали. В 1612 году интервенты захватывали Вологду, но вовсе не стены недостроенные были виноваты в этой беде. «Все делалось хмелем. Пропили город Вологду воеводы», — писал архиепископ Сильвестр князю Пожарскому в Москву. Укор и урок доньше пребывают в словах его.

Из задуманного Иваном Грозным завершилось одно — величественный Софийский собор, главное украшение города, непостижимое чудо гармонии, возведенное всего за два года и с превеликой тщательностью, поскольку грозный государь лично наблюдал за постройкой. «А колико сделают, то каждого дни покрывали лубьем и другие орудии, и того ради оная церковь крепка на разселины». Быстрый и неожиданный отъезд царя из Вологды старинная песня объясняет происшествием, которое будто бы случилось с ним во время осмотра уже готового собора: «Как из свода туповатова упала плинфа красная, попадала ему в голову, во головушку во буйную...» Это, мол, и прогневало царя, «взъярившегося» и проклявшего город. Старинный кирпич — плинфа — был гигантских размеров по сравнению с теперешним и оставил бы от царя мокрое место, упавши он на голову. Но сам вымысел нисколько не хуже туманных причин отъезда, придумываемых историками.

Вместе с колокольней, которую в прошлом веке губернский архитектор-немец перестроил, придав ей какой-то отчасти готический вид, собор виден со всех концов города. Собор, колокольня и примыкающий к ним Архиерейский дом — целая группа разновременных старинных зданий, образующих замкнутый четырехугольник, окруженный крепостными стенами с башнями — составляют то самое, что можно теперь назвать кремлем. В небольшом дворе его много зелени, в синем небе среди белых облаков плывут купола собора и колокольни. Каждые четверть часа тишина прерывается звоном часовых колоколов. Едва ли не каждый день я ходил сюда, садился на лавку и часами рассматривал нарядные фасады домов и церквей, белые наличники самых причудливых форм, рельефно выделяющиеся на фоне цветных стен. Все было в непривычно прекрасном состоянии, над всем любовно потрудились руки реставраторов, во всем чувствовалась забота вологжан о памятниках своей старины, что надо бы считать высшим проявлением культуры.

Одно из самых старых сооружений Архиерейского дома — палаты Казенного приказа, двухэтажные, но приземистые, со стенами толщиной почти в два метра, со сводчатыми помещениями, расписанными цветочным орнаментом. У дверей их висела афиша: «Новые открытия. Персональная выставка реставратора Н. И. Федышина».

Нет, я не собираюсь рассказывать о выставке икон из Вологды, Каргополя, Устюжны и Тотьмы, о чистых красках и одухотворенных

ликах. Их надо видеть, перечислять же то, что написано в каталоге выставки, — пустое дело. Я расскажу о человеке, который дал им новую жизнь, о Николае Ивановиче Федышине, стеснительном, молчаливом, рассеянном, погруженном в свои мысли. Даря мне каталог выставки, он сделал надпись и спросил, какое число сегодня. Я сказал. Он опять ушел в себя и вдруг снова спросил, какое число... Я было рассмеялся, но отрешенный взгляд Николая Ивановича, плотно сжатые губы перебили охоту шутить. И вдруг мне бросилось в глаза его поразительное сходство с Владимиром Ивановичем Мальшевым, подвижником, посвятившим всю свою жизнь собиранию древних русских рукописных книг. Очки, лоб с залысинами, широкий нос, манера держаться — все это так, но сходство, как я тут же разобрался, было вовсе не внешним, оно проступало как бы изнутри, проявлялось в сосредоточенности, в аскетизме облика, в той же печати одержимости...

В городе, в музее, где работает Николай Иванович, к нему относятся уважительно и немного удивленно. Подумать только, человеку уже за пятьдесят, он заслуженный работник культуры, а когда открывалась персональная выставка (у реставраторов явление исключительное), то у человека не оказалось приличного костюма. «Ничего, — сказал он, — брюки у меня хорошие есть, а свитер я у сына возьму». А что удивительного! Жена, четверо детей, музейный оклад — сотня рублей. Приглашали на более выгодные места, не хочет идти. На костюм ему деньги добыли.

Обижать Николая Ивановича никто не обижал. Квартиру недавно большую дали, приглашают теперь прирабатывать в московской бригаде, реставрирующей фрески в вологодских церквях. Но сердцем он прикипел к своему музею, и сын его Иван тоже работает с ним реставратором. Иваном его называли по деду — Ивану Васильевичу Федышину, человеку удивительному настолько, что хочется рассказать о нем особо.

Уроженец Вологодской губернии, Федышин-дед еще до революции закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, куда его устроил дядя Гиляй, знаменитый репортер Гиляровский. Потом Иван Васильевич Федышин поселился в Вологде и там с 1924 года заведовал художественным отделом местного музея. Тогда как раз закрывались монастыри, и он развил самую кипучую деятельность по собиранию старинной живописи, скульптуры, художественного литья. Все это оставалось без присмотра, расплзлось по чердакам и сараям...

И если сейчас в запасниках музея насчитывается до трех тысяч ценнейших икон, то заслуга эта принадлежит в основном Ивану Васильевичу. Но ему хотелось, чтобы красота, спрятанная за налетом копоти, стала видимой миру, и потому он решил сам пройти «курс лечения икон», поехал учиться реставрации в Москву, создал

в Вологде реставрационную мастерскую, где работал и знаменитый реставратор Александр Иванович Брягин, начавший свою деятельность с расчистки знаменитой иконы Дмитрия Прилуцкого.

Вот тогда-то и познакомился Иван Васильевич с Екатериной Николаевной Соколовой, милой курсисткой с пышными волосами. Она тоже была энтузиасткой сохранения бесценной старины. Во время расставаний они писали друг другу письма. Удивительные эти письма, они дышат благородством, трогательной заботой о русском искусстве, любовью к родной земле.

«... Часто у меня, Екатерина Николаевна, появляется тревога за судьбу наших реставрационных работ в силу понятной вам причины... Не испортил ничего Александр Иванович Брягин? И как у него продвигается расчистка «Георгия». Теперь я еще больше начинаю любить и ценить эту икону...»

«... Боюсь сглазить, но А. И. вполне трезвый...» — утешала его Екатерина Николаевна, сообщая о ходе работ.

«... Еще скажу, Катя, что мы с вами должны благодарить небо за то, что живем в Вологде. Вологда считается здесь вторым городом после Новгорода по обилию и качеству памятников древнерусской живописи».

«... Крепко же вы привязаны к своим сокровищам. Я думаю, вам добровольно из Вологды было бы не уехать. Вообразите, что вас вздумали бы пригласить в какой-нибудь московский или другой из лучших музеев. Поехали бы вы туда или нет? Какие силы могут вас оторвать от сказочки «Предтечи», «Семигородней», «Пятницы», «Георгия», «Снятия со креста», «Дмитрия Прилуцкого» и многих других, милых вашему сердцу икон?»

«... Милый Ваня, хоть ты и пишешь, что я последнее письмо могу посылать 8-го, но я что-то этому плохо верю. Думается, что ты досидишь в Каргополе до последней возможности и приплывешь сюда, как святой, на каких-нибудь царских вратах...»

«... Работы здесь много, Катюша. В той же Саунинской церкви имеется замечательная икона — забавная по переводу, экспрессивная, с юмором по рисунку и праздничная по краскам. Дивная народная фантазия — сказка, прекрасно расцвеченный лубок, какой только можно встретить. О всех своих впечатлениях я мог бы написать тебе целую книгу...»

Они поженились, но письма писали по-прежнему восторженные, полные любования рукотворной красотой и нежности друг к другу. Круг знакомств их был весьма обширен. Сохранились и письма известнейших ученых и реставраторов, делившихся с Федышиным своими тревогами.

Знаменитый Петр Дмитриевич Барановский, которому Москва обязана сохранностью едва ли не половины своих старинных зданий,

Коломенского, Василия Блаженного, писал Федышину в начале 1929 года:

«... Никак не миришься при виде разрушения памятников исключительного значения и ищешь всегда выход, но большею частью безуспешно... Здесь, в Москве, ходит слух, что ваш музей имел смелость отказать в выдаче лучших икон своего собрания на выставку иконы за границей, которую устраивает Госторг, пригласив к участию в этом деле Грабаря и Анисимова. Здесь ходят нехорошие разговоры о том, что задачей Госторга является не прославление русского искусства, а распродажа, и, конечно, лучших вещей».

И действительно, выставки состоялись в Англии и Соединенных Штатах, после чего намечалась продажа около шестидесяти икон. Однако протест общественности воспрепятствовал этому опрометчивому шагу. В тридцатые годы условия для собирательства ухудшились. Кое-кто припомнил Федышину его «самовольство». Тревоги подкосили его. Он скончался от туберкулеза в мае 1941 года, за пятнадцать дней до начала войны.

Четырнадцатилетним парнишкой пришел в сорок третьем его сын Николай работать в музей. И даже не в музей, здание которого было занято под военный склад. Возил он на выбракованной лошади предметы искусства, числясь «оформителем выставок-передвижек для госпиталей». Старик Брягин исподволь учил сироту искусству реставрации икон, которых оставалось мало в городе. Основные фонды загрузили в опасное время в баржу, и она простояла всю войну у Тотьмы. Когда баржу вернули в Вологду, пришлось потрудиться, укрепляя пострадавшие от сырости доски. Работали впроголодь. Иногда Брягин, видя, как парнишка грызет сухой кусок, из жалости смачивал хлеб несколькими каплями драгоценной тогда олифы.

Ныне Николаю Ивановичу Федышину пятьдесят. Жизнь его вся прошла в Вологде, и вся она отдана вологодским ценностям. Еще семилетним мальчишкой он нашел на берегу реки черепки глиняной посуды и орудия из кости — стоянку древнего человека. В журнале «Наши достижения» тогда появилась его фотография и заметка: «Археолог Коля Федышин». После войны он время от времени стажировался в московских реставрационных мастерских, поражая специалистов интуицией, работоспособностью и поразительными результатами своего кропотливого труда. Поговаривали, что у него свои секреты, свои химические составы, но у него были золотые руки и светлая голова. И еще он свято помнил завет отца:

«...Найти прекрасное произведение искусства среди мусора, попираемое ногами, и это заброшенное и медленно умирающее произведение заставить снова жить и сиять первоначальной красотой, разве это не награда исследователю за 999 неудач из тысячи случаев?» Он не знал выходных, продолжая то, что начали отец и Брягин. Он вернул к жизни сотни икон, и ему обязан вологодский музей

в Архиерейском доме славой одного из лучших в стране. Он проводил ночи за чтением старинных рукописей и книг, стремясь узнать имена неизвестных древнерусских мастеров, создававших живописные шедевры. У него собран гигантский материал о вологодских изографах, об их жизни, о творческой манере каждого, и он рассказывает о живописцах XVI века Иване Маркове или Василии Куфтине как о своих современниках. Их имена стали известны благодаря Федышину, хотя сами древние мастера никогда не ставили своих подписей, не заботились о благодарности потомков.

Николай Иванович тоже не думал о благодарности потомков, он жил своей работой, мирясь с житейским неблагоустройством. И отец его с женой и тремя детьми и он с женой, дочерью и тремя сыновьями больше пятидесяти лет занимали сырые комнаты при мастерских, наживали туберкулез, но не уходили, зная, что не будет сердечного покоя вдали от любимого места. И жены их поддерживали... И вот третье уже поколение Федышиных занимается реставрацией — как встарь, когда от отца к сыну переходило мастерство.

Испытываешь громадное удовольствие, наблюдая в мастерской, как работает Николай Иванович, за его ловкими и точными движениями, за уверенной его повадкой. А так тихоня и скромник, слова роняет с трудом, но немногословие драгоценно, и не стоит пропускать его мимо ушей, когда ходишь по запасникам музея, соединенным с мастерской, когда показывает он черные доски, снимая их со стеллажей. Сверкают ослепительными или нежными красками прочищенные в черноте для пробы «окошки». Все иконы закреплены, разгаданы и ждут своего часа... Многие уже почти расчищены.

— Мне не терпится узнать, что там, за чернотой, — говорит Николай Иванович. — Потому я сразу над многими работаю... Когда объявили, что выставка будет, оказалось, что те вещи, которые хотелось бы показать тоже, еще не доведены... Спасибо... несчастье помогло. Уронил я доску на ногу и раздробил палец. В поликлинику некогда, стянул бинтом туго и сижу, работаю. Боль страшная, ходить не могу, из мастерской никуда не выхожу. От боли спать не могу, только работать остается. Чувствую, гангрена может начаться. Вырвал клещами ноготь и полегчало. Вот так, прикованный к столу, я за месяц выставку и подготовил...

Мне и самому приходилось попадать в такие положения. Бывало, чем больше тревог и боли, тем лихорадочнее работаешь. Но это другим не указ. Важно тут, что зашел у нас с Николаем Ивановичем разговор о фресках Дионисия в Ферапонтове и сроках росписи. Федышин опровергает сложившееся мнение, что Дионисий с помощниками расписывал церковь два сезона, месяцев семь-восемь. Он толкует Дионисиеву надпись по-своему — начали шестого августа, а окончили восьмого сентября на второе лето, то есть на второй год. А год-то в старину начинался первого сентября. Вот и выходит, по Федышину,

что созданы великолепные фрески, за тридцать один день. Уже и статья об этом отослана в Москву.

Не верится. Но Федышин ведет в Софийский собор и показывает его уже отреставрированные фрески. Они прекрасны, но до дионисиевских им далеко...

— Смотрите, — говорит Федышин, — взялся расписывать собор Дмитрий Плеханов с тридцатью товарищами в шестьсот восемьдесят шестом году, и сделали они это дело, по документам, за пятьдесят один день. Вот на этой, западной, стене «Страшный суд» написан. Четыреста квадратных метров стена, а расписали ее за одни день. Я сам тут работал и смотрел — вся стена одновременно заштукатурена, стыков никаких нет. Знаменщик наметил изображения и даже надписал всюду буквами: «к» — красный цвет, «ж» — желтый (я сам эти букочки видел), а потом встали на леса тридцать один живописец и ну махать кистями. Рука твердая, глаз верный... и вся стена одной картины получилась. Естественно, каждый поправки делал, не слепо следовал указаниям знаменщика. Я уверен, что при таланте и вдохновении этих людей так и было...

Трудно поверить в массовый талант и вдохновение, но со специалистом спорить не приходится. Видимо, квалификация и талант русских мастеров живописи были очень высоки.

Прощаясь с Вологдой, я в очередной раз по маршам широкой и надежной деревянной лестницы взобрался на смотровую площадку колокольни. Дул сильный ветер, со свистом врываясь в полости громадных колоколов. Город был виден весь — с его рекой, мостами и мостками, с церквями, особняками, бетонными параллелепипедами новых домов, «Петровским домиком», кранами речного порта... Вон церковь Иоанна Предтечи «в Рощенье», где я видел необычные фрески. Не было там величавого спокойствия — персонажи древних легенд бегали, скакали, кувыркались. Трубачи в разноцветных одеждах трубили в изогнутые рога. Соломея на пиру Ирода плясала вприсядку русскую. Сходили с кораблей иноземцы в каких-то мушкетерских нарядах... По-всякому мог изображать свое представление о жизни русский живописец.

Все утало в садах, за ними виднелись леса, а на северо-западе в излучине реки белел Спасо-Прилуцкий монастырь. Основал его Дмитрий Прилуцкий, еще один ученик и друг Сергия Радонежского и тоже сторонник объединения русских земель вокруг Москвы. Иван III, Иван IV брали монастырские святыни с собой в военные походы. Был я в этой крепости, любовался каменными стенами и несимметрично разбросанными церквями и палатами, соединенными крытыми галереями. Еще в нынешнем году тут были склады, но вологжане заранее, лет за десять, начали реставрацию, и теперь

догорают в уютном монастырском дворе остатки ветхих сараев, а сам памятник почти готов принять первые группы любопытствующих. Посмотреть тут есть на что. Меня же, повидавшего немало безобразно запущенных памятников, в очередной раз поразила заботливость вологжан, их энергия, когда дело касается памяти народной...

Постоял я и у могилы поэта Батюшкова, смотрел на тонкий профиль его, высеченный в черном камне. «Что за чудотворец этот Батюшков», — сказал о своем старшем товарище Пушкин.

Константин Николаевич Батюшков родился в Вологде и провел здесь последние, безумные годы. Он писал мечтательные стихи и в борьбе с «шишковистами» изобрел живучее слово «славянофил». Он сражался за Россию на полях битв. Пушкин не поверил в безумие Батюшкова, но когда понял, что это правда, сказал: «Уважим в нем несчастья и не созревшие надежды». Мы не знаем, как развился бы талант Батюшкова, но для людей он скончался в том же возрасте, что и Рубцов, хотя физически прожил еще тридцать с лишним лет. «Отчизны край златой», — писал Батюшков. «Россия, Русь! Храни себя, храни!» — восклицал Рубцов. Он говорил друзьям, что хотел бы покоиться вечно в Спасо-Прилуцком монастыре, неподалеку от могилы Батюшкова...

Пора прощаться с Вологдой. Вот она... Раскинулась под колокольней, а я так и не могу осмыслить до конца, почему ей выпала честь так громко заявить о себе в нашей литературе...

«Память сердца», история, искусство, люди. Все это Вологда. Край болот и густых, но невысоких лесов. Одно из средоточий русской духовности.

1978—1979

ЗА ТЕРСКИМ ХРЕБТОМ

I

Он сидел в боковой улице, во дворе, за оградой, громадный, гипсовый, тонированный когда-то под старую бронзу, с облупившейся кое-где краской и разбитыми пальцами правой руки, едва державшимися на проволочном каркасе, но удивительно похожий на себя, молодого, двадцатитрехлетнего. И усы в порядке, хотя он тревожился в свое время, что левый ус у него хуже правого. Совсем молодые были у него усы, а тут они густые даже и загибаются по современной нашей моде книзу, за уголками рта. Но я узнал Льва Тол-

стого сразу и удивился, почему его до сих пор не отлили бронзового, не поставили где-нибудь на видном месте...

Через полчаса все объяснилось. В мастерской грозненского скульптора Александра Николаевича Сафронова.

Сделал он в гипсе Льва Толстого лет двадцать назад. Сделал таким, каким и был Лев Николаевич в середине прошлого века, когда поехал на Кавказ, решил стать военным и провел здесь целых три года, оплодотворившие его творчество на многие десятилетия. Но только непривычным он показался такой молодой, безбородый тем, кому ведать надлежит монументальными украшениями города Грозного, и сослан был куда-то на задворки, пока не появился в столичной газете фельетон «Анекдот с бородой». В дни толстовского юбилея четырехметровый гипсовый монумент вытащен на свет божий и теперь ждет подновления, отливки и установки.

Скульптор Сафронов сидел в своей мастерской среди первородного хаоса, высокий, худой, издерганный комиссиями, ломавшими себе голову, узнают или не узнают Льва Толстого без всемирно известной бороды, и мы вспоминали военную молодость гиганта, а заодно и свою, которая, как оказалось, прошла тоже в Грозном, где я окончил училище связи, а Сафронов авиационное, и стали мы офицерами такими молодыми, что и усы еще не росли. Годы окончания училищ у нас не совпадали, но некоторые события одновременного пребывания в Грозном вспоминались отчетливо. Вроде налета немецкой авиации на город в сорок втором году, когда были разбомблены гигантские резервуары с нефтью в Алдах, предместье Грозного, и она потекла по улицам пылающей рекой. Это было еще до училища, и в своем подростковом неведении опасности мы с товарищами лезли на крыши домов поближе к пожарам, а когда нефть схлынула, остались на улице черные трупы лошадей, раздувшиеся до слоновьих размеров, с задранными в небо ногами. Тогда-то, при виде их, мне вдруг стало страшно, потому что это были первые жертвы войны, которые я увидел, если не считать раненых, но те были живые и даже иногда улыбались...

После продолжительного разговора в мастерской, уже не имевшего отношения к Льву Толстому, я побродил по сугубо промышленному городу, который разросся необыкновенно, но стал гораздо чище, чем в дни моей молодости, когда с неба вместо природных осадков падала хлопьями сажа и покрывала, как снегом, только черным, мостовые. Я сходил к памятнику генералу Ермолову, заложившему крепость Грозную за несколько лет до рождения Толстого.

В Грозной Толстой бывал много раз и даже оставил неясное его описание в «Набеге» — широкие укрепленные ворота крепости, живописные сады с высокими раинами, то есть пирамидальными тополями, сакли аула около ворот, комендантский дом, духаны, низенькие домики, бульвар, по которому разгуливали разряженные

девицы и офицеры, шеголявшие в новых сюртуках, белых перчатках и эполетах...

Впервые Толстой приехал в Грозную в июне 1851 года. Он не был ни офицером, ни юнкером, как герой его будущей повести «Казак» Оленин. Привела его на Кавказ «внезапно пришедшая в голову фантазия», и уж только тут он стал добиваться офицерского чина, что оказалось совсем непросто. Формально он числился на статской службе в Тульском губернском управлении, однако вел жизнь рассеянную, сидел частенько без гроша, делал долги, много читал, писал дневник, пробовал по совету тетушки сочинять, для чего старался развить память и слог, и когда любимый брат его Николай Николаевич, служивший в 20-й артиллерийской бригаде, отправлялся в свою часть на Терек, Лев Николаевич поехал с ним, даже не уволившись и не выправив паспорта. Ехали через Казань, плыли до Астрахани по Волге, потом на перекладных добрались через Кизляр до станицы Старогладковской, где 30 мая 1851 года Толстой записал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».

Но мы-то теперь знаем о его еще не осознанном желании бежать от пустой жизни, о притягательности Кавказа, где опасности войны ломали николаевскую регламентацию, рождали типы и чувства, оплодотворявшие русскую литературу. Наверно, как и у Оленина, его неприятности отодвигались, и на душе становилось отраднее по мере приближения к Кавказу. Горы, которые поразили Оленина — «чистобелые громады с их нежными очертаниями», он увидел много позже. Старогладковская сперва показалась некрасивой — лежит в низине, и нет дальних видов.

В первый же день с братом Николенькой пошли на обед к командиру батареи Алексею, «маленькому человечку, белокуренькому, рыжеватому, с хохольчиком, говорящему пронзительным голосом». Там он познакомился с другими офицерами — Бумским, «ребенком и добрым малым», и капитаном Хилковским, «из уральских казаков, старым солдатом, простым, но благородным, храбрым и добрым». (И тот и другой под разными именами много позже всплыли в творениях Толстого, хотя сперва графчика, не избавившегося еще от «светских» привычек, «коробило» в обществе простых кавказских офицеров.)

К литературным занятиям он готовился тщательно. В дороге и в Старогладковской много читал и думал о том, как надо писать для народа, что такое литературное ремесло. Хорошее сочинение должно «выпеться из души сочинителя». Но сочинитель лучше образован, чем народ, его зачастую волнует то, что народ не поймет. Подделываться под народ — окажешься смешным, тебя же презирать будут. Значит, все-таки идти вперед, «народ не отстанет». Надо говорить высшие истины, и народ постепенно подвинется... И еще решил он в своих будущих сочинениях не бояться рассказывать о себе, о собственных

слабостях даже, говорить прямо: «Вот, каков я. Вам не нравится, очень жалею: но меня бог таким сделал». Первым надо показать то, что есть на самом деле, то, что прежде было смешным и слабостью. Такое будет ново, смело и перестанет казаться смешным...

Но это были пока честолюбивые мечты, а на самом деле одолевало грустное настроение — писать хочется, а бездействуешь, воображение не работает. И 2 июня он говорит в дневнике, что «ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками, и приходиться в отчаяние, что у меня левый ус хуже правого, и два часа расправляю его перед зеркалом».

Кто не испытывал такого в двадцать два года?

Через несколько дней брат получил приказ ехать с орудиями в Старый Юрт, чтобы прикрывать от нападений чеченцев больных, лечившихся поблизости, в Горячеводском лагере, где открылись горячие минеральные источники. Ехали через станицу Червленную, переправились через Терек на пароме, а дальше уже начинался невысокий Терский хребет, за которым текла река Сунжа и стояла в ее излучине крепость Грозная. Источники били из горного склона, из горы камней. Потоки горячей воды вырывались из расщелин, с шумом падали в овраг, где клубился пар и стояли три мельницы. Вода была такая горячая, что опущенное в нее яйцо за несколько минут сваривалось вкрутую.

Толстые жили в палатке, купались в горячих источниках, любовались хорошенькими чеченками, приходившими из Старого Юрта к мельницам стирать белье. У Льва Толстого при виде их возникали мысли о любви. Он уверял себя, что никогда еще не испытывал этого святого чувства к женщине, что только читал про него, слышал, а сам будто бы знал одну лишь чувственность... А из ума не шла Зинаида Милоствова, тоненькая, лукавая, с которой он познакомился поближе, когда по пути сюда неделю прожил в Казани. Он уверял себя, что не влюбился в нее, что их отношения «остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу». Но забыть ее не мог всю жизнь.

«Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье».

Офицеров Толстой еще дичился. По вечерам в палатке подолгу размышлял и писал дневник. Свежий ветерок продувал палатку, колебал свет свечи. Слышался лай собак в ауле, переключка часовых. Остро пахло засыхающими чинаровыми ветвями, из которых был сплетен балаган, примыкавший к палатке, где жили они с братом,

и к другой, где спал сразу не понравившийся ему офицер Кнорринг. На стене балагана висели пистолет, шашки, кинжал и подштанники...

А настроение было молитвенное. Молил он о высоком и хорошем, молил простить все «преступления», которые не совершал. Так хотелось сделать жизнь беспорочной. Но вскоре благие мысли затмились тщеславными, и он заснул, мечтая о славе и женщинах.

Оно и понятно. Офицеры, прослышав о скором выступлении в Грозную и о набеге, много говорили о храбрости. А храбр ли он? Хотелось проверить себя, участвовать в набеге, но для этого надо было просить разрешения начальника левого фланга кавказских войск князя Александра Ивановича Бярятинского.

Отряд выступил из Старого Юрта на рассвете 27 июня. Толстой держался возле капитана Хилковского (в «Набеге» выведенного под именем Хлопова). На вопрос, кого тот считает храбрым, Хилковский ответил просто: «Храбрый тот, кто ведет себя как следует», — а от дальнейших разъяснений уклонился. Отряд перевалил Терский хребет. Было жарко. Офицеры и солдаты нимало не беспокоились, шутили, смеялись, будто и не предстояло никакой опасности. Сделав привал у реки Нефтянки, к вечеру дошли до Грозной.

2

Давным-давно, сто двадцать лет тому назад, закончилась Кавказская война. Был взят аул Гуниб, и Шамиль сдался Бярятинскому, тогда уже главнокомандующему Кавказской армией. У потомков немирных горцев свои республики и советы министров. Свои доктора исторических наук осмысливают разноречивые взгляды Толстого на эту войну, а я знаю одно — Бестужеву-Марлинскому, Пушкину, Лермонтову, Полежаеву, Грибоедову и многим другим русским писателям она дала литературное возмужание или впечатления, без которых многого бы недоставало в школьных хрестоматиях. И не было бы (это не самое главное) такой случайности, как мое рождение в двадцатые годы нынешнего столетия в городе Грозном на нефтяных промыслах, дававших тогда сотню миллионов пудов нефти. Я только знаю об этом факте, потому что увезли меня отсюда несмысленным, но, вернувшись в Грозный во время войны, я и потом приезжал на Кавказ, побывал во многих местах Чечни и Дагестана, где пешком, где верхом, накопил кучу записных книжек, делал выписки в архивах, с которыми не знаю, что делать — и теперь еще, видно, не пришло время осмыслить такое громадное историческое явление, как Кавказская война.

И только не бывал я за Терским хребтом, на севере от Грозного, откуда приехал для участия в набеге Толстой.

Много ли разглядишь в нынешнем Грозном из того, что произошло в 1851 году, когда Толстой испрашивал разрешения у Барятинского на участие в готовящемся набеге? Но сопоставить кое-какие сведения можно. Князь был старше графа на тринадцать лет. Изнеженный аристократ, ценитель лошадей и женщин, приятель молодости другого знаменитого Толстого, Алексея Константиновича, князь Александр Иванович был безусловно храбр, сам напросился на Кавказ и быстро делал карьеру. Отличавшийся большой ловкостью и знанием «придворных ходов», он пользовался громадным влиянием. Провинциальный аристократ Лев Толстой напрасно надеялся, что графский титул даст ему возможность непринужденных отношений с князем. Действительность оказалась очень досадной. Толстой робел в присутствии Барятинского.

Впрочем, все устроилось. Знакомый адъютант постарался, чтобы штатская фигура Льва Толстого попала на глаза Барятинскому, тот милостиво выслушал просьбу разрешить идти с отрядом, изъявил свое согласие и проследовал в кабинет.

Колонна выступила вечером 27 июня. Шли при девятнадцати орудиях к селениям Автуры и Герменчук. Часов в одиннадцать, когда уже светил месяц, Толстой сел на лошадь и догнал арьергард отряда, выходящий из ворот крепости, что у сунженского моста, где и сейчас есть мост, но, конечно, другой, по которому я проходил не одну сотню раз в строю и перед которым старшина всегда давал команду идти не в ногу, чтобы не было опасного для моста резонанса. Училище связи во время войны располагалось точно за мостом, а команда и басни об обрушившихся от «резонанса» мостах очень занимали нас...

Очерк о набеге Толстой напишет через год в Старогладковской, и трудновато добавить что-либо к нему и к тысячам страниц, написанных об этом произведении литературоведами. Толстой упрекал себя, что действовал в набеге «бессознательно и трусил Барятинского». Робость перед «всяким Барятинским» даже злила его. Наблюдательность же и вдумчивость молодого Толстого обещала многое.

Вот туда-то, в место, где родился Лев Толстой как писатель, в станицу Старогладковскую, изображенную в его «Казаках» под названием «Новомлинская», и устремился я в одно прекрасное утро на газике-вездеходе, известном в наших северных краях под кличкой «козел», а на Кавказе — «бобик». Накануне мы со своей спутницей, хлопотливым секретарем местного общества охраны памятников истории и культуры Ниной Александровной Ненцовой, побывали в обкоме, где нам рассказали, как преобразуется центральная площадь Старогладковской, куда к школе имени Толстого перенесут сохранившиеся дома его времени, где будет создан музей и воздвигнут небольшой памятник, заказанный московскому скульптору.

— С бородой? — спросил я.

— С бородой.

«Бобик» быстро пересек долину Сунжи и по отличному шоссе стал карабкаться на Терский хребет. С перевала открылась таявшая в солнечном мареве долина Терека. На обратном склоне мы увидели то, что осталось от Горячеводского укрепления, числящегося ныне по карте Горячесточненской, а чуть дальше раскинулось огромное чеченское селение. Это и был Старый Юрт, а ныне, по той же карте, Толстов-Юрт.

Железистые источники, в которых когда-то купался Толстой, леча ревматизм, иссякли. Остались только построенные уступами бассейны и заброшенные разрушающиеся ванны здания. Но где-то здесь рядом, на неживописном склоне, некогда поросшем могучими дубами и буками, которые на Кавказе называются чинарами, стояли палатки и балаган, куда вернулся Лев Толстой из Грозного через два дня после набега. Он прожил здесь весь июль. Набег сблизил его с офицерами, а они теперь только и делали, что играли в карты. Долго терпел Толстой, наблюдая за ними, пока в один прекрасный день не ввязался в игру, поставил пустячную ставку и... проиграл. Говорят, не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. Вот он и пытался отыграться и спустил своих 200 рублей, 150 рублей, взятых у брата, да еще на 500 рублей дал вексель Кноррингу с обязательством вернуть в январе 1852 года.

Было над чем поразмыслить, лежа вечером на бугре, глядя на тучки, освещенные луной, слушая пение сверчка и крики, доносившиеся из аула. Ощущение такое, наверное, испытывает трусливая собака перед хозяином, когда виновата. Правду говорит Николенька: благородство характера, возвышенность понятий, любовь к славе... и совершенная неспособность ко всякому труду. И ведь вроде бы сразу раскусил этого Кнорринга. Еще когда он впервые пришел к ним и приветствовал брата: «Здравствуй, морда!» Уже тогда было понятно, что этот человек с широким, скуластым, одутловатым лицом и глазами, в которых при смехе появлялось выражение тупой бессмысленности, просто не порядочен. «Надолго ли-с, граф, сюда?» Лев тогда ответил ему холодно. А ведь имеет же такой влияние и на брата Николеньку и на других... Как он этого добивается? А он, Толстой, робок. Ездил в Грозную недавно, а к Вярятинскому подойти не рискнул...

3

Водитель нашего «бобика» оказался не из азартных. Я уж было думал, что получится у нас настоящая киношная гонка с визжанием скатов на крутых горных виражах, а он только махнул рукой вслед уходящему автобусу и сказал:

— Разве его догонишь?

Получилось же так, что в бывшем Старом Юрте мы должны были заехать к учителю местной школы Азизу Юсупову, который написал большой роман о Льеве Толстом на чеченском языке под названием «Кунаки» и ждал его выхода в грозненском издательстве. Мы проехали широкими улицами аула Толстов-Юрт, застроенными новенькими домами, к большой кирпичной школе с мемориальной толстовской доской на стене и узнали, что Юсупов недавно ушел на остановку автобуса, который, наверно, уже отбыл в Грозный. Кратчайшим путем мы бросились к шоссе и увидели какой-то автобус, уже карабкавшийся вверх по склону горы. Тут-то наш водитель и махнул рукой.

Но не проехали мы обратно и полукилометра, как навстречу появился еще один автобус, который вдруг остановился, и все пассажиры стали дружно кричать в открытые окна, что Юсупов уже знает, что мы приехали. Неведомыми путями деревенский телеграф донес до него эту весть, он сошел с автобуса и ждет нас дома.

И он действительно ждал нас, этот ученый чеченец, в комнате, где стояло на полках две тысячи книг и лежали фотографии дореволюционного Старого Юрта. На одной из них был неказистый старый дом.

— В этом доме, — сказал Юсупов, — жил Садо Мисербиев. Я объездил все толстовские места, но действие моего романа происходит здесь...

И тут вмешалась моя спутница:

— Тогда коня, что Садо подарил своему кунаку Толстому, ему дали мои предки Ненциевы. Они были зажиточные, а Садо Мисербаев не мог купить коня. Зато он потом отдал Ненциевым фисгармонь, подаренную ему Толстым. Я видела ее у дяди, а потом уж не знаю, куда она делась...

— Так вы из рода Ненциевых! — удивился Юсупов.

Я слушал разговор, истоки которого уходили за сотню лет с четвертью, и был он мне понятен, потому что я знал историю этих подарков.

Тогда же, когда Лев Толстой проигрывал тут поблизости последние деньги в карты, повадился ходить к офицерам, тоже играть, молодой чеченец Садо Мисербаев из Старого Юрта. Он не умел ни считать, ни записывать. Этим и пользовались некоторые «мерзавцы-офицеры» вроде Кнорринга, надувавшие его почем зря. Толстой отписывал тетушке Ергольской:

«Поэтому я никогда не играл против него, отговаривал его играть, говоря, что его надувают, и предложил ему играть за него. Он был мне страшно благодарен за это и подарил мне кошелек. По обычаю этой нации отдаривать, я подарил ему плохонькое ружье, купленное мною за 8 р. Чтобы стать к у н а к о м, то есть другом, по обычаю нужно, во-первых, обменяться подарками и затем принять пищу в доме кунака.

И тогда по древнему обычаю этого народа (который сохраняется только по традиции) становятся друзьями на живот и на смерть, и о чем бы я ни попросил его — деньги, жену, его оружие, все то, что у него есть самого драгоценного, он должен мне отдать, и, равно, я ни в чем не могу отказать ему. Садо позвал меня к себе и предложил быть кунаком.

Помимо этой маленькой энциклопедии чеченских нравов, осталось и еще немало сведений о дружбе Толстого с Садо. И лучше изложить их сразу, не придерживаясь хронологической канвы.

Проигравшись в Старом Юрте, Толстой больше карт в руки не брал, все думал, как ему расплатиться с долгами, писал родственникам, чтобы продали кое-какие из причитавшихся ему наследственных деревенок. А Садо, игрок страстный, продолжал ходить в лагерь. Толстой отчитывал друга за это, но у того пошла полоса везенья...

В начале августа Толстой вернулся в Старогладковскую, а Николенька еще оставался в Старом Юрте. Садо ходил к тому каждый день и все говорил, как скучает без своего кунака. Лев написал Николаю, что у него заболела лошадь, и Садо, узнав об этом, тотчас прискакал в Старогладковскую. Вел он на поводу прекрасного коня (которого, как теперь выяснилось, взял у Ненциевых). Как ни отказывался Толстой, пришлось взять коня.

В январе 1852 года Толстой был в Тифлисе. Истекал срок векселя, данного Кноррингу. И в России долгов было много. Он уже представлял себе, как Кнорринг подает к взысканию, а начальство спрашивает, почему Толстой не платит, и тут пришло письмо от брата Николеньки, из конверта вывалился вексель на 500 рублей, разорванный пополам. Брат писал:

«На днях был у меня Садо, он выиграл у Кнорринга твои векселя и привез их мне. Он так был доволен этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: «Как думаешь, брат рад будет, что я это сделал», — что я очень его за это полюбил. Этот человек действительно к тебе привязан».

Узнав о страсти к лошадям еще одного из братьев Толстых, Сергея, оставшегося на родине и не вылезавшего из цыганского табора, Садо обещал выкрасть в горах что ни на есть лучшего коня и самолично доставить его в Россию.

«Пожалуйста, — просил тетюшку Толстой, — велите купить в Туле мне **шестиствольный пистолет** и прислать вместе с **коробочкой с музыкой**, ежели не очень дорого, такому подарку он будет очень рад».

Видимо, подарки дошли, и Садо был рад музыкальному ящику, который, однако, если верить Ненциевой, назвавшей его «фисгармонией», пришлось ему переподарить в знак благодарности за полученного в нужное время коня.

Дружба не порывалась, и когда Лев Толстой стал офицером. В июне 1853 года Садо сопровождал Толстого, когда тот ездил в укрепление Воздвиженское, что было в 29 верстах от Грозной. Это на юг от города, там, где начинаются Черные горы, за которыми высится Главный Кавказский хребет. Возвращались колонной, шли с орудиями и медленно. Когда до Грозной было уже рукой подать, Толстой, Садо и несколько офицеров решили опередить колонну. Толстой и Садо поехали по гребню отрога, а остальные долиной. Под Толстым был красивый, темно-серый, с широкой грудью иноходец кабардинской породы. А Садо сидел на некрасивой, но поджарой длинноногой ногайской лошади.

— Попробуй мою лошадь, — сказал чеченец.

Они поменялись лошадьми. Именно это, пожалуй, и спасло жизнь Толстому, потому что в следующую минуту Садо заметил десятка два немирных чеченцев, скакавших за офицерами во весь опор. Садо толкнул Толстого, и тот крикнул офицерам, предупреждая об опасности.

Началось преследование. За Толстым с его кунаком увязалось семеро. У Льва Николаевича из оружия была одна шашка, а у Садо — ружье, да и то незаряженное. Толстой на своей резвой лошади мог ускакать, но ему не хотелось бросать Садо. А тот все делал вид, что берет на мушку преследователей, и переговаривался с ними почеченски.

В колонне заметили чеченцев и стали наводить орудия, но начальник колонны выскочил вперед, расставил руки и закричал: — Оставь, оставь, там наши!

Часовой у ворот крепости тоже заметил скакавших и поднял тревогу. Навстречу помчались кавалеристы. Горцы повернули обратно. Толстой с Садо отделались испугом, остальные же офицеры были жестоко изранены, а один к вечеру умер.

Это со слов Садо записал Толстой две чеченские песни. А когда пришла пора писать «Хаджи Мурата», дал это имя горцу, приютившему бежавшего наиба, создал благородный, впечатляющий образ.

4

Теперь до Терека было рукой подать. Летом реки, берущие начало в горах, особенно полноводны. Под мостом неслась бурая вода, широко растекаясь по низине, а за мостом раскинулась станица Червленая, украшенная нестерпимо сверкающими на солнце, высоченными металлческими башнями фантастически-космического вида, которые на деле оказались самыми обыкновенными хранилищами силоса.

«Бобик» покрутил по улицам и остановился у аккуратной хижинки с доской на стене: «В доме, стоящем на этом месте, в 1837 году останавливался великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов и создал «Казачью колыбельную песню».

Ненциева горделиво показывала на эту надпись, а меня занимал совсем другой дом, стоявший рядом, большой, почти скрытый из виду разросшимися деревьями и кустами, поднятый на метр от земли на столбах, которые делали его когда-то недосягаемым для речных разливов, с открытой верандой по всему фасаду. Да, это был он, «офицерский дом», видевший в своих стенах всех знаменитых путешественников по Кавказу, от Грибоедова до Толстого, что-то вроде гостиницы на великом тракте, которую не мог миновать никто. И, пожалуй, это был единственный дом, сохранившийся с первой половины прошлого века. Во всяком случае, на берегах Терека дома с таким архитектурным обликом я больше не увидел ни одного.

Теперь в нем была больница. На веранде сидели веселые парни, кто с ногой в лубке, кто с рукой, и резались в домино. Все в доме обветшало.

— Да, старинный дом, — сказал один из больных. — И крысы в нем старинные...

Ненциева промолчала... Сколько же надо хлопот, чтобы сохранить, отремонтировать знаменитое здание! А в этом случае и строительства новой больницы для Червленной добиться нужно...

Я знал, что не только себя и не совсем Старогладковскую изобразил Лев Николаевич в своих «Кзаках». Само прибытие Толстого на Кавказ через Астрахань и Кизляр не было типичным. Его Оленин, напичканный образами Амалатбеков и прекрасных черкешенок, мечтавший то удивить всех своей храбростью, убивая и покаясь множеством горцев, то помочь горцам отстоять против русских свою независимость, ехал именно той дорогой, какой ехали обычно все, — через Ставрополь, Екатериноградскую, Моздок, Червленную, а дальше дорога продолжалась вдоль левого берега Терека, через гребенские станицы, или уходила к югу — в Чечню и Дагестан.

И в своей «Новомлинской» Толстой дал собирательный облик всех пяти гребенских станиц — Червленной, Старогладковской, Новогладковской (ныне Гребенской), Курдюковской и Щедринской. История поселения здесь русских казаков уходит в седую древность, едва ли не к временам великого князя Ивана III. Насчет происхождения казаков историками высказывалось много мнений, но твердых знаний нет и по сию пору.

Еще в начале XVI века ушли крестьяне сюда, на вольные земли, подальше от княжеского и боярского ока, из Рязанского княжества, где жили на Гребенских холмах, что между Донцом и Калитвой. Так говорится в «Сказании о Гребенской Божией Матери». И названия своим поселениям они дали такие же, что были у них на

старых местах. Пришли в места лесистые, плодородные, обжились, с местным населением поладили, холостые переженились на чеченках и кумычках... Лихи и бесстрашны были русские люди, поселившись в самой гуще чужих племен. Уживчивость простого человека сделала бы на Кавказе то, что произошло на Севере, среди финских племен, или в Сибири, и обошлось бы без большой крови, если бы не вмешались имперская бюрократическая заносчивость, оскорблявшая гордых горцев, и мусульманская нетерпимость к иноверцам, привнесенная извне довольно поздно, что и привело к затяжной войне...

Толстого очень занимали «воинственные, красивые и богатые» гребенские станичники, а в 1857 году, работая над «Кзаками», он даже записал: «Будущность России — казачество: свобода, равенство и обязательная военная служба каждого».

И в «Кзаках» отдал дань истории: «Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Терекон, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки переродились с ними и условили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры...»

Толстой ошибался или, вернее, наивно верил легендам, говоря о «старой вере» при Иване Грозном, потому что раскол в России произошел сто лет спустя, при царе Алексее Михайловиче, но ошибка эта прощительна — даже такой знаток кавказской истории, как живший в прошлом веке Е. Вейденбаум, писал, что казаки-раскольники бежали с Дона на Терек в 1620 году, то есть тоже упреждал действительные события лет на пятьдесят.

Но не в истории дело, а в быте казаков, которые бежали в вольные края и при Иване III и при грозном царе, пожаловавшем будто бы, по словам старинной песни, приехавших в Москву казацких старейшин «рекою вольною Терекон Горынычем, что от самого гребня до синя-моря, до синя-моря до Каспицкого». Бежали мятежники-стрельцы при Петре I, бежали крепостные и позже... Старая же вера служила лишь знаменем в стремлении отстоять свои свободы, которые были невозможны лишь в гармоничном сосуществовании с горскими племенами. И недаром в обнаруженном недавно грозненским профессором Н. Гриценко документе 1755 года предводители горцев от себя лично и от своих народов писали в Петербург, что «издревле имеют с терскими казаками доброе обхождение», мирно живут на разных берегах Терека и просят русское правление, чтобы терский казак Иван Иванов по прозвищу Кара-Черный был назначен

атаманом казаков, потому что он «по управлению как между христианами, так и магометанами весьма способен и о поведеньях знающий и всему народу известный человек».

А вот быт казаков, их отношения с горцами Толстой описал предельно верно, да и все его произведения о Кавказе проникнуты духом фразы, сказанной в «Набеге»:

«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом?»

5

Станицу Старогладковскую мы проскочили и доехали почти до самого Кизляра, потому что она не обозначена никакой дорожной надписью. Слева тянулась равнина, переходившая на севере в песчаные буруны обширной Ногайской степи, справа виднелся лес, узкой полосой теснившийся к Тереку. Пришлось возвращаться. Оставалось только позавидовать порядку, что был во времена Толстого, который описывал в «Казаках» станицу, отделяющуюся от Терека густым лесом и обнесенную земляным валом и колючим терновником, дома казаков, поднятые на столбах от земли на аршин и более, ворота; пушку, караульного казака и даже белую дощечку под крышкой ворот, на которой было написано черной краской, что в станице Новомлинской «домов 266, мужеского пола душ 897, женского пола 1012».

Ныне Старогладковская выглядит по-другому — дома не на столбах, потому что некогда буйный, широко разливавшийся Терек стеснен прочными дамбами. Теперь в ней 500 дворов и 1700 жителей. Потомков гребенских казаков осталось немного. Живут и дружно работают в совхозе имени Льва Толстого люди двадцати национальностей.

И все старогладковцы свято чтят память Толстого. В школе давно уже существует музей, и мы застали там радостных ребят — старшекласников: в день нашего приезда они вернулись из Ясной Поляны, где за свои старания по сохранению памяти великого писателя получили призы и грамоты и теперь гордо высвобождали из бумажных упаковок тульские самовары и пряники.

Директор школы Иван Кириллович Радченко работает в Старогладковской уже десятка два лет, он-то и взялся быть нашим гидом, показал несколько мест, где предположительно стоял на квартире Лев Толстой. Находились старушки, которые называли себя потомками Марьяны из «Казаков» — ее будто бы на самом деле звали Зиной, и она после гибели Лукашки вышла замуж за Кирилла Беззубого... Все были уверены, что «Новомлинская» Толстого и есть Старогладковская. Еще помнили те времена, когда станица делилась на две части — староверческую и православную.

В последние десятилетия быт села меняется непостижимо быстро, все больше приближаясь к городскому. Во время войны солдатская судьба забросила меня на лесозаготовки в сунженскую станицу Троицкую, где все было очень похоже на то, что описывал в «Казаках» Лев Толстой. Помню плетни, избы со стенами, обмазанными глиной, сундуки, большие русские печи (повсеместно замененные «голландками»), иконы с деревянными и медными староверческими иконами, недовольство курением солдат, определенных на постой... Правда, «особливых» стаканов, из которых пила семья хорунжего — хозяина квартиры толстовского Оленина, уже не было. Толстой писал о казаках: «Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату».

Молодого Толстого очень занимали казачки, которые в отличие от казаков, проводивших «большую часть времени на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле», вели все хозяйство и верховодили в семьях. Он отмечал их ум, развитость, щегольство и «совершенную свободу» в отношениях к мужчинам. Помнится, казачки действительно уделяли своей внешности много внимания. Работая в поле, они плотно повязывались платками, а открытые солнцу щеки и нос густо намазывали каким-то белым самодельным кремом, чтобы не приставал загар — белизна лица и нежность кожи в красоте ценились больше всего. Походка казачек поразила одного русского путешественника. Он писал, что казачка «более похожа на балетную корифейку, чем на деревенскую работницу».

«Красота гребенской женщины, — писал Толстой, — особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины». Оно и понятно, откуда это — дедушка Ерошка говорил Оленину: «Вся наша родня чеченская — у кого бабка, у кого тетка была». И среди горцев блондинов с русским типом лица полным полно.

6

Раз уж речь зашла о Ерошке, то не мешало бы вспомнить, что именно у его прототипа, у старого казака Епифана Сехина, поселился Лев Толстой, когда вернулся в Старогладковскую в начале августа 1851 года из набега и пребывания в Старом Юрте. В свои девяносто лет дед Епифка был атлетически сложен, много охотился и бражничал, играл на балалайке и плясал лезгинку, хотя его и порицали другие старики. И самое главное — он много и красиво рассказывал, что для

Толстого, все больше склонявшегося к сочинительству, было сущим везением.

А рассказывать было что. Поручик Николай Николаевич Толстой в своем очерке «Охота на Кавказе» (выдававшем семейный литературный талант) вывел Епифана Сехина под собственным именем. «Чего не видел этот человек в своей жизни! — писал он. — Он и в казематах сидел не однажды, и в Чечне был несколько раз. Вся жизнь его составляет ряд самых странных приключений. Наш старик никогда не работал; самая служба его была не то, что мы привыкли понимать под этим словом. Он или был переводчиком, или исполнял такие поручения, которые исполнять мог, разумеется, только он один: например, привести какого-нибудь абрека, живого или мертвого, из его собственной сакли в город, поджечь дом Бейбулата, известного в то время предводителя горцев, привести к начальнику отряда почетных стариков или аманатов, из Чечни, съездить с начальником на охоту, купить лошадей за рекой».

8 августа Лев Николаевич сидел у окна своей хаты и наслаждался природой. Уже начинали краснеть ночные тучки. Ему думалось о пагубной привычке отвлекаться в мыслях от того, что должен писать, и хотя у его любимого писателя Стерна умная болтовня и разбросанность превращались в достоинство, он и его осуждал за это. Сейчас вспомнилась почему-то цыганка Катя. Перед отъездом из Москвы он ездил к цыганам, она сидела у него на коленях, уверяла, что любит лишь его одного, и пела любимую его песню «Скажи зачем...». И теперь он сам запел у окна на цыганский манер...

Под окном послышался шорох. Это оказался Лукашка, которого хозяин Толстого, «старик ермоловских времен, казак, плут и шутник Епишка», прозвал «Маркой». Лукашка решил, что Толстой поет какую-то калмыцкую песню. «Марка» был калекой и совсем непохож на лихого Лукашку, одного из главных героев «Казачков», но имя его пригодились. «Марка» был умен и даже немного грамотен, учил Толстого говорить по-кумыцки и брался быть Меркурием молодого графа, успевшего плентиться одной казачкой...

В том же месяце Лев Николаевич со своим Епишкой съездил в Хасав-Юрт, что в нескольких десятках верст южнее Старогладковской, и в пути встретился со своим дядей графом Ильей Андреевичем Толстым, путешествовавшим с «оказией». Тот предложил племяннику отправиться вместе к князю Бярятинскому в Грозную. Пожалуй, именно с этого предложения и начался крупный перелом в жизни молодого Льва Толстого.

Бярятинский встретил их приветливо. Он видел Льва Николаевича в набеге, хвалил за храбрость и спокойствие и, главное, уговаривал поступить на военную службу. С этого времени Толстой стал мечтать об успешной военной карьере, надеяться на «всемогущую протекцию» Бярятинского и хлопотать о зачислении в батарею.

28 августа Толстому исполнялось 23 года. Приехал брат с чеченцем Балтой Исаевым, который, как и Садо, стал другом Льва Николаевича. Перед самым их приездом Толстому удалось «привести в порядок мысли», и он начал переписывать первую главу «Детства», первого своего произведения, наброски к которому он делал еще в начале года, в Москве.

Он продолжал работать и в Тифлисе, куда поехал хлопотать о поступлении на военную службу. И хотя дело осложнилось тем, что Толстой так и не удалось уйти в отставку со штатской службы и не имел свидетельства из Герольдии о дворянском звании, настроение у него было приподнятое. Он считал, что с ним произошла «большая нравственная перемена», что непродуманное решение ехать на Кавказ внушено ему «свыше», что жизнь теперь наладится.

Сдав экзамены по арифметике, алгебре, геометрии, грамматике, истории, географии и иностранным языкам, он добился приказа об определении его фейерверкером (унтер-офицером) IV класса в № 4 батарею 20-й артиллерийской бригады, то есть туда же, где служил брат Николенька, в Старогладковскую.

7

Я бродил по Старогладковской, где Толстой прожил еще два года, перебирал в уме статистические и прочие описания старой станицы, смотрел, где были дома прототипов его персонажей, станичные лавки, Троицкая церковь, старался представить себе, как проводил здесь свое время новоиспеченный фейерверкер. У него выходило: охота, чтение, разговоры, шахматы и работа над «Детством», а потом кавказскими вещами. Он уверял, что слышет «чужаком и гордецом» среди офицеров из-за своей склонности уединяться. Приехали «люди» из Ясной Поляны, привезли легавых Катая и Позора и бульдога Бульку, известного всем нам с детских лет.

Съездили мы с Иваном Кирилловичем на берег Терека. На околице станицы видели остатки рва. Громадные белолыственницы обозначали место, где была станица до 1817 года, а дальше начиналась прибрежная лесная полоса леса. Даже по тому, что осталось от бывшего леса, можно представить себе его густоту и непроходимость. И теперь с громадных дубов свисают перевитые, как девичьи косы, лианы толщиной с руку, а в густом подлеске полно колючего терновника — десятков шагов и то сложно сделать в таком лесу. Ноги по колено утопают в каких-то стелющихся растениях с длинными листиками, «липучками», как их здесь называют. Охота тут была роскошная...

Но вспомнилось и другое. Когда-то такие леса покрывали здесь громадные пространства. И рубка леса, описанная Толстым в рассказе того же названия, производилась из соображений стратегических. Именно леса делали Кавказ неприступной природной крепостью...

Вот и ходил в январе — феврале 1852 года Толстой со своей батареей «уносным фейерверкером» в походы — прорубать просеки в сторону Урус-Мартана. Я знаю эти места. После первой строевой выкладки, ползания по плацу по-пластунски в противогазах и мытья полов в казарме был в училище ночной подъем, крик дневального: «Рота, в ружье!» — и марш-бросок по обледенелой дороге на несколько десятков километров, до Урус-Мартана и обратно, с полной выкладкой. Лесов тогда уже не было, дул пронизывающий ветер, как дул он и в ту зиму, когда Толстой со своей батареей отстреливался, одолевал быстрые речки с ледяной водой, а в одном деле чудом остался жив — снаряд попал в колесо орудия, которое он наводил. Несмотря на желание подражать брату, спокойно распоряжавшемуся, Лев Николаевич очень волновался...

Ничего удивительного нет в том, что я бывал в этом Урус-Мартане, и мы никогда не думаем о том, что бываем в тех же местах, где великие люди ходили когда-то. А по случаю все-таки вспоминается, как вспомнилось в 1942 году жителю Старогладковской Ермилу Хомину, что Толстой жил в его станице. Часть Хомина выбивала немцев из Ясной Поляны, и старогладковец проявил себя в этом деле достойно, за что и получил медаль «За отвагу».

Ходил Толстой в поход и в январе 1853 года. Известно, что в 4-й батарее у них было 4 офицера, семь фейерверкеров и 79 рядовых. В Грозной задержались, потом выступили в укрепление Куринское, атаковали Шамиля у аула Бата-Юрт. Толстой командовал взводом. На быстрое продвижение по службе рассчитывать было нечего. Барятинский своих обещаний не помнил. В двадцать три года Толстой записал: «Замечаю в себе признак старости» — и подумывал об отставке. Но настоящие испытания ему еще только предстояли. В Крыму...

В этих походах Толстой лучше узнавал солдат своей батареи и почти обо всех рассказал в своих кавказских очерках. В «Рубке леса» он напишет: «В русском, настоящем русском солдате никогда не заметишь хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют черты его характера».

Это тут Толстой уверится, что русскому солдату нужны «спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого».

8

Терек открывался за расступившимся лесом неожиданно. Бурые воды его текли напористо, стремительно, и ширина была порядочная — метров триста.

— Как же переправлялись горцы, — спросил я Ивана Кирилловича, вспомнив «Казак».

— А километра за три выше положит горец на старый пенё седло и ружье, столкнет в воду. Его несет с пнем, а он подгребаёт к этому берегу. Тут пастуха убьёт или свяжет и тем же манером с украденными лошадьми на ту сторону...

— Рыба есть еще в реке?

— Есть, но мало. Раньше, когда разливался Терек, рыба на лугах отъедалась бабочками и другими насекомыми. Теперь дамбы не дают разливаться и еще химия... Но рыба есть. Браконьеры большими крюками ловят, наподобие якорька. Забросят, зацепят за бок белугу килограммов на сто двадцать и тянут. Сазана и на пять килограммов не вытащишь, бьется... А эта дура, как бревно, к берегу идет, не шелохнувшись...

Где-то тут старый секач распорол Бульке живот, а Толстой выстрелил в кабана почти в упор, так что щетина опалилась.

Многое передумал Лев Николаевич в свои старогладковские годы. Прогулки с ружьем по приречному лесу располагали к этому.

Проглядывая дневниковые записи Толстого, сделанные в Старогладковской, видишь его духовное одиночество. Брат много пил и как-то отделился от Льва. Николая засосала армейская рутинка. И стоит в связи с этим вспомнить слова генерала Ермолова: «Кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине».

Для Льва Толстого Кавказ был хорош тем, что хватало времени и для чтения и для размышлений. Наслышался и навидался всего он тоже много. Потом это скажется. Вот упоминание о Хаджи-Мурате... А больше он пишет о борьбе с собственным тщеславием. Часто упоминает, что опротивело писать «Детство», но не бросает. (Это хороший признак — графоманы всегда пишут с удовольствием.) Все заботится об усовершенствовании своей природы и обретении нужных знаний. Мечтает заняться «на всю жизнь» историей Европы. Радуется письмам Некрасова и огорчается, что ему как начинающему автору не платят. Планы у него большие, и он, не откладывая дела в долгий ящик, начинает сразу «Отрочество», «Утро помещика», кавказские очерки. Только так будут и деньги и литературное признание. С другой стороны, «зачем деньги, дурацкая литературная известность. Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь». А хорошо писать в России после «Записок охотника» Тургенева трудно.

Одна запись, откровенно говоря, помазала елеем мое сердце. От 25 октября 1853 года, когда он получил восьмой номер «Современника».

«Я прочел «Наденьку», повесть Жуковой, — писал Толстой. — Прежде мне довольно было знать, что автор повести — женщина,

чтобы не читать ее. Оттого что ничего не может быть смешнее взгляда женщины на жизнь мужчины, которую они часто берутся описывать; напротив же, в сфере женской автор-женщина имеет огромное преимущество перед нами. Наденька очень хорошо обставлена; но лицо ее самой слишком легко и неопределенно набросано; видно, что автора не руководила одна мысль».

Дело в том, что Мария Семеновна Жукова — моя прабабка. Среди семейных реликвий у меня есть ее акварели и книги «Вечера на Карповке» и «Очерки южной Франции и Ниццы». Писательницу неоднократно хвалил Белинский. Кроме «Современника», она печаталась в «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках», «Сыне отечества», «Литературной газете». Потом ее творчество основательно забылось, и помнят писательницу разве что в музее ее родного города — Арзамаса. Из русских женщин, занимавшихся сочинительством в XIX веке, теперь не чтят ни одну. Говорить о дискриминации в литературе — занятие нестоящее. Толстой похвалил ее немного в своей Старогладковской, и на том спасибо. Приятно встретить такое, огласится всякий...

В последний свой год на Кавказе он совсем уже разочаровался в службе, в «дурацких парадах», в апреле 1853 года хотел выходить в отставку, но стыд вернуться в Россию юнкером удерживал его. Все-таки он был произведен в офицеры, что в общем не изменило его барского образа жизни, литературных занятий, пока не началась турецкая война, поехать на которую он мечтал...

Заказывать офицерский мундир он отправился в Грозную, где и нам когда-то выдали первое шерстяное офицерское обмундирование и хромовые сапоги. Для нас это была перемена громадная — гордились мы золотыми погонами, полученными в результате ускоренного военного курса. Вернувшись из Старогладковской в Грозный, я не мог не зайти в училищный городок, где стоит теперь какая-то воинская часть. Замполит любезно провел меня по казармам. Вот в этом помещении у нас были двухэтажные нары, на которых спало двести человек, а теперь стоит едва ли сорок кроватей, на стенах висят чеканные украшения, в красном уголке — полированная мебель и цветной телевизор. Столовая с ее аккуратными столиками напоминает ресторан. Замполит пошутил, что некоторые солдаты за время службы успевают отращивать брюшко. Я вспомнил нашу столовую, длинные столы на двенадцать человек, бачки с «шрапнелью» — перловой кашей, вечное ощущение несытости после двенадцати часов в поле, непременно с винтовкой, двумя телефонными катушками или полевой радиостанцией — по два пуда таскали уж точно. Тогда свирепое цуканье сержантов угнетало, а теперь я вспоминаю об этом с благодарностью — закалка, обретенная в юности, помогала потом переносить любые трудности сравнительно легко...

Если меня спросят, о Толстом этот очерк или о себе, я отвечу: путешествие к Толстому — это всегда путешествие в собственную жизнь. На протяжении всей ее он сопровождает нас, и в разном возрасте одни и те же его произведения воспринимаются нами по-разному. «Казаков» я перечитывал молодым офицером, не раз и чувства, томившие Оленина, были моими и только моими. И так с любыми его произведениями.

На то он и гений.

1978

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Средоточия	3
За Терским хребтом	28

Дмитрий Анатольевич Жуков

ЗА ТЕРСКИМ ХРЕБТОМ

Редактор **В. П. Енишерлов.**

Технический редактор **Е. Н. Щукина.**

Сдано в набор 27.07.81. Подписано к печати 20.10.81. А 00446. Формат 70×108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,04. Тираж 100 000 экз. Изд. № 2316. Зак. № 1036. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865. ГСП. Москва. А-137, ул. «Правды», 24.

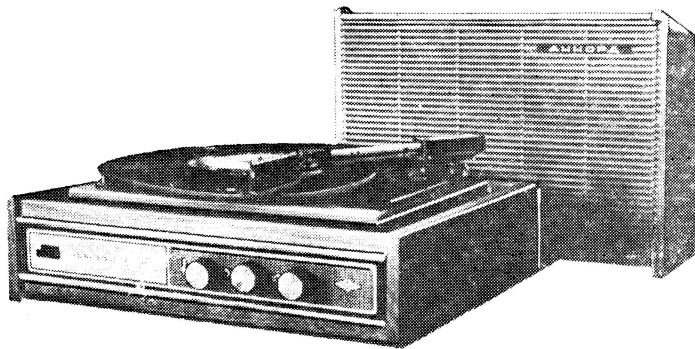
Цена 20 коп.

Индекс 70668

Голос любимого певца, популярные мелодии качественно воспроизведет **трехскоростной монофонический электрофон «АККОРД-203»**.

На нем можно прослушивать грампластинки любых форматов, специальное устройство — микролифт — плавно опускает звукосниматель на плоскость диска, предохраняя от случайных повреждений; желаемый тембр звучания устанавливается при помощи отдельных регуляторов по высшим и низшим звуковым частотам.

Цена — 62 руб.



ЦКРО «Радиотехника»

